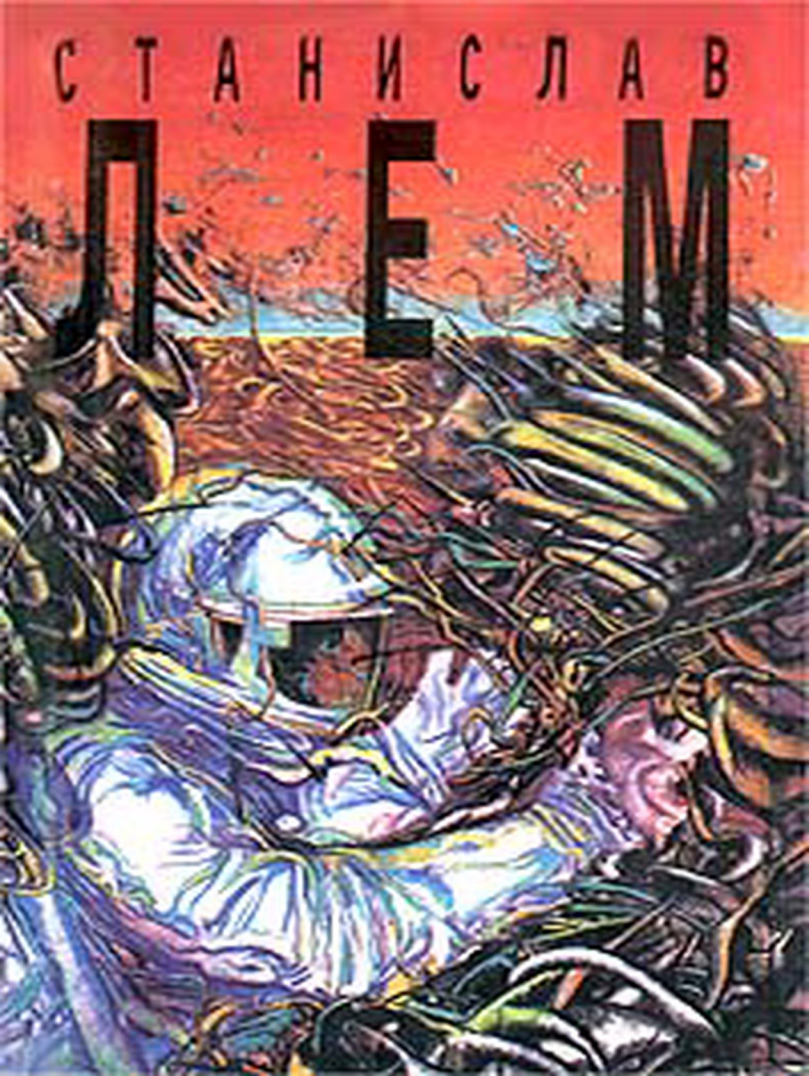
СТАНИСЛАВ

ЛЕМ



Солярис
Станислав Лем

Аннотация
Станислав Лем. Солярис
Посланец
Соляристы
Гости
Сарториус
Хэри
«Малый апокриф»
Конференция
Чудища
Жидкий кислород
Разговор
Мыслители
Сновидения
Удачный результат
Древний мимоид

Аннотация

«Солярис» (1961) — культовый научно-фантастический философский роман Станислава Лема, посвященный проблеме Первого контакта человека с принципиально иным, внеземным разумом.

Станислав Лем. Солярис

Посланец

В девятнадцать ноль-ноль по бортовому времени я прошел мимо собравшихся вокруг шлюзовой камеры и спустился по металлическому трапу в капсулу. Места в ней хватало только на то, чтобы расставить локти. Я присоединил наконечник шланга к патрубку воздухопровода, выступавшему из стены капсулы, скафандр надулся, и теперь я уже не мог пошевелиться. Я стоял, вернее, висел в воздушном ложе, слившись в одно целое с металлической скорлупой. Подняв глаза, я увидел сквозь выпуклое стекло стенки колодца, а выше — склоненное над ним лицо Моддарда. Лицо вдруг исчезло, и стало темно — сверху опустили тяжелый конический обтекатель. Восемь раз взвыли электромоторы, затягивающие болты. Потом раздалось шипение нагнетаемого в амортизаторы воздуха. Глаза привыкали к темноте. Я различал уже светло-зеленые контуры единственного табло.

— Ты готов, Кельвин? — раздалось в наушниках.

— Готов, Моддард, — ответил я.

— Ни о чем не беспокойся. Станция тебя примет, — сказал он. — Счастливого пути!

Прежде чем я успел ответить, вверху что-то заскрежетало и капсула дрогнула. Я невольно напрягся, но ничего не почувствовал.

— Когда старт? — спросил я и услышал шорох, словно на мембрану сыпался мелкий песок.

— Кельвин, ты летишь. Всего хорошего! — где-то совсем рядом прозвучал голос Моддарда.

Я не поверил, но прямо перед моим лицом открылась смотровая щель, в ней появились звезды. Напрасно я старался найти альфу Водолея, к которой направлялся «Прометей». Небо этих частей Галактики ничего мне не говорило, я не знал ни одного созвездия; в узком просвете клубилась искрящаяся пыль. Я ждал, когда звезды начнут мерцать. Но не заметил. Они просто померкли и стали исчезать, расплываясь в рыжеющем небе. Я понял, что нахожусь уже в верхних слоях атмосферы. Неподвижный, втиснутый в пневматические подушки, я мог смотреть только перед собой. Горизонта пока еще не было видно. Я все летел и летел, совершенно не чувствуя полета, только мое тело медленно и коварно охватывала жара. Снаружи возник противный визг — как будто ножом проводили по тарелке. Если бы не

цифры, мелькающие на табло, я не имел бы понятия об огромной скорости падения. Звезд уже не было. Смотровую щель заливал рыжий свет. Я слышал гулкие удары собственного пульса, лицо горело, сзади тянуло холодком из кондиционера; мне было жалко, что не удалось разглядеть «Прометея» — он уже вышел за пределы видимости, когда автоматическое устройство открыло смотровую щель.

Капсула задрожала раз, другой, началась невыносимая вибрация; несмотря на изоляцию, она пронизала меня — светло-зеленый контур табло расплылся. Но я не испугался, не мог же я, прилетев из такой дали, погибнуть у цели.

— Станция Солярис, Станция Солярис, Станция Солярис! Я посланец. Сделайте что-нибудь! Кажется, аппарат теряет стабилизацию. Станция Солярис! Прием.

И снова я пропустил важный момент — появление планеты. Она простиралась огромная, плоская; по величине полос на ее поверхности я понимал, что нахожусь еще далеко, точнее, высоко, так как я уже миновал ту неуловимую границу, на которой расстояние от небесного тела становится высотой. Я падал. Все еще падал. Теперь, даже закрыв глаза, я чувствовал это. Я тут

же открыл их, мне хотелось как можно больше увидеть. Спустя несколько секунд я повторил вызов, но и на этот раз ответа не получил. В наушниках трещали залпы атмосферных разрядов. Они звучали на фоне шума, такого глубокого и низкого, словно это был голос самой планеты. Оранжевое небо в смотровой щели затянулось бельмом. Стекло потемнело; я отпрянул, насколько мне позволил скафандр, и тут же понял, что это тучи. Они лавиной пронеслись вверх и исчезли. Я все падал то на свету, то в тени; капсула летела, вращаясь вокруг вертикальной оси, и огромный, распухший солнечный диск размеренно проплывал перед моим лицом, появляясь слева и заходя справа. Вдруг сквозь шум и треск прямо в ухо затараторил далекий голос:

— Посланец, я — Станция Солярис! Посланец, я — Станция Солярис! Все в порядке. Вы под контролем Станции. Посланец, я — Станция Солярис. Приготовиться к посадке в момент ноль, повторяю, приготовиться к посадке в момент ноль, внимание, начинаю. Двести пятьдесят, двести сорок девять, двести сорок восемь...

Между словами раздавалось отрывистое попискивание — говорил робот. Это было по меньшей мере странно. Обычно, когда прибывает новый,

да еще прямо с Земли, все бегут на посадочную площадку. Но думать об этом было некогда. Гигантский круг, описываемый солнцем, и равнина, куда я летел, встали на дыбы; за первым креном последовал второй, в противоположную сторону. Я раскачивался, как диск огромного маятника. Стараясь пересилить дурноту, я заметил на иссеченном грязно-лиловыми и черноватыми полосами фоне планеты маленький квадрат, на котором в шахматном порядке выступали белые и зеленые точки — ориентир Станции. Тут же от верха капсулы что-то с треском оторвалось — длинное ожерелье тормозных парашютов резко захлопало на ветру; в звуках этих было нечто непередаваемо земное — впервые за столько месяцев я услышал шум настоящего ветра.

Дальнейшее произошло очень быстро. До сих пор я просто знал, что падаю. Теперь я это увидел. Бело-зеленая шахматная доска стремительно росла; уже можно было различить, что она нарисована на продолговатом, похожем на кита, серебристом корпусе с выступающими по бокам иглами радарных установок, с рядами темных иллюминаторов. «Кит» не покоился на поверхности планеты, а висел над ней, отбрасывая на чернильно-черный фон тень — более темное пят-

но в форме эллипса. Одновременно я разглядел фиолетовые борозды Океана, они еле заметно шевелились. Внезапно тучи, по краям ослепительно пурпурные, поднялись высоко вверх; небо между ними, далекое и плоское, было буро-оранжевым. Потом все расплылось: я вошел в штопор. Не успел я подать сигнал, как короткий удар вернул капсулу в вертикальное положение; в смотровой щели вспыхнули ртутным светом волны Океана, простиравшегося до самого горизонта, затянутого дымкой; гудящие стропы и купола парашютов внезапно отделились и полетели над волнами, уносимые ветром, а капсула мягко закачалась, по-особому, медленно, как всегда бывает в искусственном гравитационном поле, и скользнула вниз. Последнее, что я успел заметить, были решетчатые взлетные установки и два огромных, высотой в несколько этажей, зеркала ажурных радиотелескопов. Что-то с пронзительным стальным лязгом остановило капсулу, что-то открылось подо мной, и с протяжным сопением металлическая скорлупа, в которой я находился, закончила путешествие длиной в сто восемьдесят километров.

— Я — Станция Солярис. Ноль-ноль. Посадка закончена. Конец, — услышал я безжизненный

голос робота.

На грудь давило, в животе чувствовалась неприятная тяжесть. Обеими руками я потянул на себя рукоятки, которые находились на уровне плеч, и разомкнул контакты. Засветилась зеленая надпись ЗЕМЛЯ; стена капсулы раскрылась, пневматическое ложе слегка подтолкнуло меня в спину. Чтобы не упасть, я сделал несколько шагов вперед. С тихим шипением, похожим на печальный вздох, воздух вышел из скафандра. Я был свободен.

Я стоял под высокой, как своды храма, серебристой воронкой. По стенам тянулись, исчезая в круглых люках, пучки разноцветных труб. Я обернулся. Вентиляторы гудели, отсасывая остатки ядовитых газов, проникших сюда при посадке. Пустая, как лопнувший кокон, сигарообразная капсула стояла в круглой впадине стального возвышения. Наружная обшивка капсулы обгорела и стала грязно-коричневой. Я сошел по небольшому скату. Дальше на металл был наварен слой шероховатого пластика. В местах, где обычно катились тележки подъемников ракет, пластик протерся до самой стали.

Вдруг компрессоры замолкли, и стало тихо. Я беспомощно огляделся, ожидая кого-нибудь, но

никто не появлялся. Только неоновая стрелка светилась, указывая на бесшумно скользящий эскалатор. Я встал на него. По мере спуска красивые параболические своды зала постепенно переходили в цилиндрический туннель. В нишах грудами валялись баллоны со сжатым газом, контейнеры, кольцевые парашюты, ящики. Это меня тоже удивило. Эскалатор заканчивался у круглой площадки. Здесь царил еще больший беспорядок. Под кучей жестяных банок растеклась маслянистая лужа. В воздухе стоял неприятный резкий запах. В разные стороны тянулись следы, четко отпечатавшиеся в липкой жидкости. Между жестяными банками валялись рулоны белых телеграфных лент — вероятно, их вымели из кабин, — клочки бумаги, мусор. И снова засветился зеленый указатель, направляя меня к средней двери. За ней тянулся такой узкий коридор, что в нем трудно было бы разойтись двоим. Свет проникал сквозь нацеленные в небо двояковыпуклые стекла верхних иллюминаторов. Еще одна дверь, разрисованная бело-зелеными шахматными клетками, была приоткрыта. Я вошел в полукруглую кабину. В единственном обзорном иллюминаторе горело затянутое туманом небо. Внизу, бесшумно перекатываясь, чернели гребни

волн. В стенах множество открытых шкафчиков с инструментами, книгами, немытыми стаканами, пыльными термосами. На грязном полу стояло пять или шесть шагающих столиков, между ними несколько надувных кресел, потерявших всякую форму — воздух из них был частично выпущен.

В единственном исправном кресле с откидной спинкой сидел маленький худенький человек с обожженным солнцем лицом. Нос и скулы у него шелушились. Я знал, что это Снаут, заместитель Гибаряна, кибернетик. Когда-то он поместил в «Соляристическом альманахе» несколько весьма оригинальных статей. Раньше я никогда не видел Снаута.

На Снауте была сетчатая майка, сквозь которую виднелась впалая грудь с седыми волосами, и полотняные брюки с множеством карманов, как у монтажника, когда-то белые, с пятнами на коленях, прожженные реактивами. В руках он держал пластиковую грушу, из какой обычно пьют на кораблях без искусственной гравитации. Снаут смотрел на меня, сощурившись, будто от яркого света. Груша выпала у него из рук и запрыгала по полу, как мячик. Из нее вылилось немного прозрачной жидкости. В лице у Снаута не было ни кровинки. Я был слишком растерян и

не мог произнести ни слова. Молчаливая сцена продолжалась до тех пор, пока его страх каким-то странным образом не передался и мне. Я шагнул. Он съежился в кресле.

— Снаут, — шепнул я.

Он вздрогнул, как от удара, и неожиданно с отвращением прохрипел:

— Я тебя не знаю, не знаю. Чего ты хочешь?..

Пролитая жидкость быстро испарялась. Запахло спиртным. Снаут пил? Он пьян? Чего он так боится? Я по-прежнему стоял посредине кабины. Колени у меня дрожали, уши заложило. Пол уходил из-под ног. За выпуклым стеклом иллюминатора размеренно шевелился Океан. Снаут не спускал с меня налитых кровью глаз; он постепенно успокаивался, но по-прежнему глядел на меня с невыразимым отвращением.

— Что с тобой?.. — вполголоса спросил я. — Ты болен?

— Ты заботишься... — глухо сказал он. — Ага. Ты станешь заботиться, да? Но почему обо мне? Я тебя не знаю.

— Где Гибарян?

Снаут поперхнулся, глаза у него остекленели, в них что-то вспыхнуло и погасло.

— Ги... Гиба... — выдавил он. — Нет! Нет!!!

Снаут затрясся, беззвучно, бессмысленно хихикая, и вдруг замолк.

— Ты пришел к Гибаряну?.. — произнес он почти спокойно. — К Гибаряну? Что ты собираешься с ним сделать?

Он смотрел на меня, словно я сразу перестал представлять для него опасность; в его словах, вернее, в оскорбительном тоне звучала ненависть.

— Что ты говоришь?.. — выдавил я, оглушенный. — Где он?

— Ты не знаешь?.. — удивленно пробормотал Снаут. Он пьян, подумал я. Пьян до потери сознания. Я разозлился. Конечно, следовало уйти, но мое терпение лопнуло.

— Опомнись! — рявкнул я. — Откуда я могу знать, где он, если я только что прилетел! Что с тобой, Снаут?!!

У него отвисла челюсть, и он снова поперхнулся. Но неожиданно глаза его заблестели, он выглядел теперь совсем иначе. Трясущимися руками Снаут схватился за поручни кресла и встал с таким трудом, что у него хрустнули суставы.

— Как? — сказал он, почти протрезвев. — Прилетел? Откуда ты прилетел?

— С Земли, — ответил я с яростью. — Может, ты

слышал о ней? По-моему, нет!

— С Зе... о Боже... Так ты Кельвин?

— Да. Чего ты так смотришь? Что тут удивительного?

— Ничего, — произнес он моргая, — ничего.

Снаут потер лоб.

— Кельвин, извини, это ничего. Знаешь, так внезапно... Я не ожидал.

— Как не ожидал? Ведь вы получили сообщение несколько месяцев назад, а сегодня Моддард телеграфировал с борта «Прометея».

— Да, да... конечно, только, видишь ли, тут такая неразбериха.

— Пожалуй, — сухо ответил я, — оно и заметно.

Снаут обошел вокруг меня, словно проверяя, как выглядит мой скафандр, самый обычный, со шлангами и проводами на груди. Откашлялся. Потрогал свой острый нос.

— Хочешь искупаться?.. Это тебя взбодрит. Голубая дверь с противоположной стороны.

— Спасибо. Я знаю расположение Станции.

— Может быть, есть хочешь...

— Нет. Где Гибарян?

Снаут подошел к иллюминатору, будто не слыша моего вопроса, и встал ко мне спиной. Сейчас

он выглядел значительно старше. Коротко подстриженные седые волосы, глубокие морщины на шее, сожженной солнцем. За стеклом блестели огромные гребни волн, поднимавшихся и опускавшихся так медленно, словно Океан застывал. Казалось, что Станция постепенно соскальзывает с невидимой опоры. Потом возвращается в исходное положение и так же лениво наклоняется в другую сторону. Но вероятно, это был оптический обман. Хлопья слизистой кроваво-красной пены скапливались между волнами. Меня затошнило. Я вспомнил строгий порядок на борту «Прометея» как что-то дорогое, безвозвратно потерянное.

— Послушай, — произнес Снаут неожиданно, — пока только я... — Он обернулся, нервно потер руки. — Тебе придется довольствоваться только моим обществом. Пока. Называй меня Мышонок. Ты знаешь меня только по фотографии, но это неважно, меня все так называют. Я привык. Впрочем, Снаут[1] — родители слишком увлекались космосом — звучит не лучше. Мышонок — по крайней мере что-то земное...

— Где Гибарян? — настойчиво повторил я. Снаут заморгал.

---

[1] notes: 1

Снаут (snout) — сопло (англ.). Здесь и далее примечания переводчиков.

— Мне неприятно, что я так тебя принял. Здесь... не только моя вина. Я совершенно забыл, тут такое делалось, знаешь...

— А, неважно, — прервал я. — Не надо об этом. Что с Гибаряном? Его нет на Станции? Он куда-нибудь полетел?

— Нет. — Снаут смотрел в угол, заставленный катушками кабеля. — Никуда он не полетел. И не полетит. Именно потому... в частности...

— Что? — спросил я. Уши по-прежнему были заложены, и мне показалось, я не расслышал. — Что это значит? Где он?

— Ведь ты все понимаешь, — произнес Снаут совсем другим тоном.

Он так холодно посмотрел мне в глаза, что у меня по спине пробежали мурашки. Может, он и был пьян, но знал, что говорит.

— Что-нибудь случилось?

— Случилось.

— Несчастье?

Снаут кивнул. Он, видимо, ожидал именно такого вопроса.

— Когда?

— Сегодня на рассвете.

Странно, но я не был потрясен этим сообщением. Скорее, оно успокоило меня и объяснило

поведение Снаута.

— Как это случилось?

— Переоденься, разбери свои вещи и возвращайся сюда, ну скажем... через час.

— Хорошо, — согласился я после минутного колебания.

— Подожди, — окликнул он, когда я направился к двери.

В его взгляде было что-то необычное. Я видел: он не в силах выговорить то, что вертится у него на языке.

— Нас было трое, и теперь, вместе с тобой, снова стало трое. Ты знаешь Сарториуса?

— Как и тебя, по фотографии.

— Он наверху, в лаборатории, не думаю, что до ночи он выйдет оттуда, но... во всяком случае, ты его узнаешь. Если ты увидишь кого-нибудь еще, понимаешь, не меня и не Сарториуса, тогда...

— Что тогда?

Не сон ли все это? За окном кроваво-черные волны блестели в лучах заходящего солнца. Снаут опять сел в кресло, понурив голову и глядя в сторону, на катушки кабеля.

— Тогда... не делай ничего.

— Кого я могу увидеть? Привидение? — разозлился я.

— Понимаю. Ты думаешь, что я сошел с ума. Нет. Не сошел. Я не могу тебе объяснить этого... пока. Впрочем, может быть... ничего не случится. Но ты все-таки помни. Я тебя предупредил.

— О чем? Что ты говоришь?

— Держи себя в руках, — настойчиво твердил свое Снаут. — Веди себя так, словно... Будь готов ко всему. Это невозможно, я знаю, но ты попытайся. Больше я ничего не могу посоветовать.

— Да *что* я увижу?!! — Я почти кричал, мне страшно хотелось схватить его за плечи и встряхнуть как следует. Я не в силах был видеть, как он сидит, уставившись в угол, смотреть на его измученное, обожженное солнцем лицо, слышать, как он с трудом выдавливает из себя слово за словом.

— Я не знаю. В каком-то смысле это зависит от тебя.

— Галлюцинации?

— Нет. Это реально. Не... нападай. Помни.

— Что ты говоришь?! — произнес я не своим голосом.

— Мы не на Земле.

— Политерии? Но они вообще не похожи на людей! — воскликнул я.

Я понятия не имел, как привести Снаута в себя:

перед его остановившимся взглядом стояло что-то бессмысленное и ужасное.

— Именно потому это так страшно, — тихо сказал Снаут. — Помни! Будь осторожен!

— Что случилось с Гибаряном?

Снаут не ответил.

— Что делает Сарториус?

— Приходи через час.

Я повернулся и вышел. Открывая дверь, я посмотрел на него еще раз. Он сидел съежившись, закрыв лицо руками, маленький, с пятнами от реактивов на брюках. Я только сейчас заметил, что у него на пальцах запеклась кровь.

Соляристы

В тоннеле никого не было. Я постоял перед закрытой дверью, прислушиваясь. Стены, вероятно, были тонкие, снаружи доносилось завывание ветра. На двери виднелся небрежно прикрепленный прямоугольный кусочек пластыря с надписью карандашом: «Человек». Я смотрел на неразборчивые каракули, и мне вдруг захотелось вернуться к Снауту, но я понял, что это невозможно.

Безумное предупреждение еще звучало у меня в ушах. Скафандр почему-то стал невыносимо тяжелым. Крадучись, словно прячась от невидимого наблюдателя, я вернулся в круглое помещение с пятью дверьми. На них были таблички: «Д-р Гибарян», «Д-р Снаут», «Д-р Сарториус». Четвертая дверь — без таблички. Поколебавшись, я легонько нажал на дверную ручку и медленно открыл дверь. Когда она отодвигалась, мне показалось — я был почти уверен, — что там кто-то есть. Я вошел.

Никого. Такой же, только чуть поменьше, выпуклый иллюминатор, нацеленный на Океан; на

солнце Океан отливал жирным блеском, словно по волнам растеклось красноватое оливковое масло. Пурпурный отсвет заполнял всю комнату, похожую на судовую каюту. С одной стороны — полки с книгами, между ними, вертикально у стены, закреплена откидная койка, смонтированная на карданах, с другой — множество шкафчиков, тут же на никелированных рамах — снимки планеты из космоса; в металлических штативах — колбы и пробирки, заткнутые ватой; под иллюминатором — два ряда белых эмалированных ящиков, загораживающих проход. Крышки у некоторых откинуты, в ящиках — инструменты и пластиковые шланги; в обоих углах — краны, вытяжной шкаф, морозильные установки, на полу — микроскоп (для него не хватило места на большом столе у иллюминатора).

Обернувшись, я заметил у самого входа шкаф до потолка. Он был приоткрыт. В нем висели комбинезоны, рабочие и защитные халаты, на полках лежало белье, между голенищами антирадиационных сапог поблескивали алюминиевые баллоны для портативных кислородных аппаратов. Два аппарата вместе с масками висели на спинках койки. Следы небрежной, торопливой уборки не могли скрыть царившего здесь

беспорядка. Я принюхался. Пахло химическими реактивами, чем-то едким — не хлором ли? Я невольно поискал глазами под потолком зарешеченные угловые отдушины вентиляции. Приклеенные к их рамам полоски бумаги чуть шевелились, показывая, что компрессоры поддерживают нормальную циркуляцию воздуха. Я снял с двух стульев книги, аппаратуру и инструменты, рассовал их, как сумел, по углам, чтобы освободить хоть немного места возле койки, между шкафом и полками. Пододвинув вешалку для скафандра, я хотел расстегнуть молнию, но тут же остановился. Я никак не мог решиться сбросить скафандр. Мне казалось, без него я стану беззащитен. Еще раз я обвел взглядом всю комнату, проверил, плотно ли закрыта дверь. Она не запиралась, и я, после минутного колебания, придвинул к ней два самых тяжелых ящика. Соорудив такую баррикаду, я в три приема высвободился из своей тяжелой скрипящей оболочки.

В узком зеркале на внутренней стенке шкафа была видна часть комнаты. Там что-то двигалось, я рванулся с места, но тут же понял — это мое собственное отражение. Сняв трикотажный костюм, пропотевший под скафандром, я отодвинул шкаф: в нише за ним заблестели стены

крошечной душевой. На полу лежала большая плоская коробка. Я с трудом внес ее в комнату. Когда я клал коробку на пол, крышка отскочила, открылись отделения, заполненные странными предметами: множество искаженных изображений или грубых подобий инструментов из темного металла, часть которых напоминала те, что лежали в шкафчиках. Все они никуда не годились — деформированные, искривленные, оплавленные, словно после пожара. Самое удивительное, что повреждены были и керамитовые, то есть практически неплавкие, рукоятки. Ни в одной лабораторной печи нельзя получить температуру их плавления — разве только в атомном реакторе. Из своего скафандра я достал карманный индикатор излучения, поднес к этим странным инструментам — его черная головка молчала.

Сняв плавки и майку, я швырнул их на пол и встал под душ. Сразу стало легче. Я вертелся под упругими, горячими струями, массировал тело, фыркал — старательно, даже слишком старательно, словно пытаясь смыть с себя какую-то непонятную, отравленную подозрениями неуверенность, заполнявшую Станцию.

Я отыскал в шкафу легкий тренировочный

костюм, который годился и под скафандр, переложил в карманы свое скудное имущество; между страницами записной книжки я нащупал что-то твердое — это был неизвестно как попавший туда ключ от моей квартиры на Земле; я повертел его в руках, не зная, что с ним делать. В конце концов я положил его на стол; потом подумал, что мне может понадобиться какое-нибудь оружие. Универсальный складной нож, конечно, не оружие, но ничего другого у меня не было, а я еще не дошел до такого состояния, чтобы искать лучемет или что-то в этом роде.

Я уселся на металлическом стуле подальше от вещей. Мне хотелось побыть одному. Я с удовлетворением отметил, что у меня есть еще более получаса: ничего не поделаешь, я от природы педантичен и пунктуален во всем, даже в мелочах. Стрелки на двадцатичетырехчасовом циферблате показывали семь. Солнце заходило. Семь часов по местному времени, значит, двадцать по бортовому времени «Прометея». На экранах Моддарда планета Солярис, вероятно, уже стала крошечной искоркой и ничем не отличается от звезд. Но какое отношение имел теперь ко мне «Прометей»? Я закрыл глаза. Было абсолютно тихо, если не считать равномерно повторявшегося

мяуканья труб. В душевой тихонько постукивала о фаянс вода.

Гибаряна нет в живых. Если я правильно понял Снаута, с момента смерти Гибаряна прошло всего несколько часов. Что с телом? Они его похоронили? Но ведь на такой планете похоронить нельзя. Я довольно долго размышлял об этом, словно не было проблемы важнее. Потом, поняв, что мои раздумья ни к чему не приведут, встал и принялся ходить из угла в угол. Я все время задевал разбросанные книги, какой-то маленький планшет; наклонившись, я поднял его. В планшете что-то лежало. Это была бутылка из темного стекла, легкая, как бумага. Я посмотрел сквозь бутылку на мрачно красневший, затянутый грязной мглой закат. Что со мной? Почему я обращаю внимание на всякую чепуху, на любую мелочь, попавшуюся под руку?

Я вздрогнул: зажегся свет. В сумерках сработал фотоэлемент. Я все ждал чего-то; напряжение росло, я уже не мог выносить пустоты за спиной. Надо было побороть это чувство. Пододвинув стул к полкам, я взял хорошо знакомый мне второй том старой монографии Хьюза и Эйгеля «История планеты Солярис» и стал листать его, положив толстую книгу на колено.

Планета Солярис была открыта лет за сто до моего рождения. Она вращается вокруг двух солнц — красного и голубого. В течение сорока с лишним лет к ней не приближался ни один космический корабль. В те времена теория Гамова — Шепли о невозможности возникновения жизни на планетах двойных звезд считалась аксиомой. Орбиты таких планет непрерывно изменяются в результате гравитационных возмущений, происходящих при вращении обоих солнц относительно друг друга.

Возникающие пертурбации попеременно сокращают и растягивают орбиту планеты, и зачатки жизни, если они и возникают, уничтожает то жар излучения, то ледяной холод. Эти изменения происходят в течение миллионов лет, то есть с астрономической или биологической точек зрения (ибо эволюция требует сотен миллионов, если не миллиардов, лет) в очень короткое время.

Солярис, по первоначальным подсчетам, должна была в течение пятисот тысяч лет приблизиться на расстояние, равное половине парсека, к своему красному солнцу, а еще через миллион лет упасть в его раскаленную бездну.

Но уже через десять с небольшим лет ученые

убедились, что траектория планеты вовсе не обнаруживает ожидаемых изменений и является столь же постоянной, как траектории планет нашей Солнечной системы.

Были повторены, на этот раз с максимальной точностью, наблюдения и расчеты, подтвердившие только то, что уже было известно: орбита Солярис постоянна.

До тех пор Солярис была одной из сотен ежегодно открываемых планет. В больших статистических таблицах такие планеты отмечены несколькими строками, содержащими основные характеристики их движения. Но теперь Солярис перешла в ранг небесных тел, заслуживающих особого внимания.

Через четыре года планету облетела экспедиция Оттеншельда, исследовавшего Солярис с борта «Лаокоона», сопровождаемого двумя вспомогательными космическими кораблями. Экспедиция носила характер первоначальной рекогносцировки. Она не могла совершить посадку и только вывела на экваториальные и полярные орбиты значительное количество автоматических спутников-наблюдателей, в задачи которых в основном входили замеры гравитационных потенциалов. Кроме того, была

исследована поверхность планеты. Она почти полностью покрыта Океаном, лишь немногие плоскогорья возвышаются над его уровнем. Их общая площадь не достигает территории Европы, хотя диаметр Солярис на двадцать процентов больше земного. Эти беспорядочно рассеянные островки скалистой и пустынной суши сосредоточены в основном в южном полушарии. Был изучен также состав атмосферы, не содержащей кислорода, и чрезвычайно тщательно измерена плотность планеты, а также ее освещенность и другие астрономические характеристики. Как и предполагалось, никаких признаков жизни найти не удалось — ни на суше, ни в Океане.

В течение следующих десяти лет Солярис, теперь уже находившаяся в центре внимания всех обсерваторий этой части Вселенной, обнаруживала поразительную тенденцию к сохранению своей, вне всякого сомнения, гравитационно нестационарной орбиты. Некоторое время дело попахивало скандалом, так как вину за такой результат наблюдений пробовали взвалить (ради блага науки) то на отдельных людей, то на счетные машины, которыми эти люди пользовались.

Из-за отсутствия средств научная соляристическая экспедиция задержалась еще на три года,

пока Шенаган, собрав экипаж, не получил от Института три корабля тоннажа С, космодромного класса. За полтора года до прибытия экспедиции, стартовавшей в районе альфы Водолея, второй исследовательский флот вывел, по поручению Института, на околосолярийскую орбиту автоматический Сателлоид — Луну 247. Этот Сателлоид после трех очередных реконструкций, отделенных друг от друга десятилетиями, работает и поныне. Собранные им данные окончательно подтвердили наблюдения экспедиции Оттеншельда относительно активного характера движения Океана.

Один корабль Шенагана остался на высокой орбите, а два других после предварительной подготовки совершили посадку на скалистом участке суши площадью около 600 квадратных миль, у Южного полюса планеты Солярис. Работа экспедиции длилась восемнадцать месяцев и в основном прошла успешно, если не считать одного несчастного случая из-за неисправности в аппаратуре.

Но ученые, входившие в состав экспедиции, разделились на два противоборствующих лагеря. Предметом спора стал Океан. На основании анализов его сочли органическим образованием

(назвать его живым тогда еще никто не осмеливался). Биологи видели в нем примитивное образование, некое гигантское соклетие, то есть одну чудовищно разросшуюся жидкую клетку (они называли это образование «добиологической формацией»), которая окружила всю планету студенистым покровом, достигающим кое-где нескольких миль глубины. Астрономы и физики утверждали, что это должна быть чрезвычайно высоко организованная структура, возможно превосходящая по сложности строения земные организмы, раз она может активно влиять на формирование планетной орбиты. Ибо никакой другой причины, объясняющей поведение Солярис, открыть не удалось, а, кроме того, планетологи обнаружили связь между некоторыми процессами в плазматическом Океане и местным гравитационным потенциалом, который менялся в зависимости от океанического «обмена веществ».

Так физики, а не биологи предложили парадоксальное определение — «плазматическая машина», понимая под этим образование, в нашем значении, возможно, и не живое, но способное к целенаправленным действиям, добавим сразу — в астрономическом масштабе.

В этом споре, который, подобно водовороту, захватил в течение нескольких недель все самые выдающиеся авторитеты, впервые за 80 лет пошатнулась доктрина Гамова — Шепли.

Кое-кто еще пытался защитить ее, утверждая, что Океан не имеет ничего общего с живой материей, что он представляет собой даже не «вне- или добиологическое» образование, а только геологическую формацию, конечно, не обычную, но способную всего лишь стабилизировать орбиту Солярис, изменяя силы тяготения; защитники ссылались на принцип Ле-Шателье.

Наперекор этому консервативному мнению появились гипотезы, провозглашавшие (как одна из наиболее разработанных — гипотеза Чивита — Витта), что Океан — результат диалектического развития; от своей первоначальной формы, от Праокеана, раствора вяло реагирующих химических веществ, он сумел под влиянием неблагоприятных условий (то есть угрожающих его существованию изменений орбиты) перейти, минуя земные ступени развития — возникновение одноклеточных и многоклеточных организмов, растительную и животную эволюцию, образование нервной системы и мозга, — прямо в стадию «гомеостатического океана».

Иными словами, в отличие от земных организмов, сотни миллионов лет приспосабливавшихся к окружающей среде и только в конце такого длительного периода давших начало разумным существам, Океан сразу стал господствовать над окружающими условиями.

Все это было весьма оригинально, но никто попрежнему не знал, каким образом студенистый сироп может стабилизировать орбиту небесного тела. Почти целый век были известны устройства, создающие искусственные силовые гравитационные поля, — гравитаторы, но никто понятия не имел, как аморфная жижа может давать эффект, представлявший собой — в гравитаторах — результат сложных ядерных реакций и высоких температур. В газетах, в то время развлекавших читателей и приводивших в ужас ученых самыми низкопробными выдумками на тему «тайна планеты Солярис», встречались даже утверждения, что Океан — дальний родственник... земных электрических угрей.

Когда удавалось хоть в какой-то степени разрешить одну проблему, оказывалось — так потом не раз бывало с планетой Солярис, — что вместо одной загадки возникала другая, еще более невероятная.

Исследования показали, что Океан вовсе не действует по принципу наших гравитаторов (что, кстати, невозможно), а обладает способностью непосредственно моделировать метрику времени-пространства, что ведет, в частности, к отклонениям в измерении времени на одном и том же меридиане Солярис. Таким образом, Океан не только в известном смысле знает следствия теории Эйнштейна — Беви, но и может их использовать (чего нельзя сказать о нас).

В научном мире такие выводы произвели настоящий переворот — один из самых грандиозных в нашем столетии. Всеми признанные, непреложные теории рухнули, в научной литературе появились самые еретические статьи, всех взбудоражила альтернатива: «гениальный Океан или гравитационный студень».

Это происходило лет за двадцать до моего рождения. Когда я учился в школе, Солярис благодаря установленным к тому времени фактам была уже признана планетой населенной — но всего одним обитателем...

Второй том Хьюза и Эйгеля, который я продолжал листать почти машинально, начинался с систематики, столь же оригинальной, сколь забавной. В классификационной таблице фигури-

ровали по очереди: тип — политерии (Politeria), порядок — соклетные (Syncytialia), класс — метаморфные (Metamorpha).

Словно нам было известно бог знает сколько представителей данного вида, в то время как представитель был только один — правда, весом 17 миллиардов тонн.

Я быстро перелистывал пестрые диаграммы, разноцветные графики, данные спектральных анализов, демонстрирующие тип и темп основного обмена, его химические реакции. Чем дальше углублялся я в объемистый том, тем больше математики было на мелованных страницах; казалось, мы абсолютно все знаем об этом представителе класса метаморфных, который лежал во тьме четырехчасовой ночи в нескольких сотнях метров от стального днища Станции.

В действительности не все еще пришли к единому мнению, «существо» ли это, а тем более — можно ли Океан назвать разумным. Я затолкнул огромный том на полку и вытащил следующий. Он состоял из двух частей. В первой кратко излагались эксперименты, сделанные во время бесчисленных попыток установить контакт с Океаном. Я прекрасно помнил, что в мои студенческие годы эти попытки вызывали

нескончаемые анекдоты, шутки и насмешки. По сравнению с теми дебрями, в которые завел ученых вопрос контакта, даже средневековая схоластика казалась ясным, доступным, не вызывающим трудности академическим курсом. Вторую часть тома, насчитывающую почти тысячу триста страниц, составляла только библиография предмета. Сама же литература по этому вопросу наверняка не поместилась бы в комнате, где я сидел.

Сначала контакт пытались установить при помощи специальных электронных аппаратов, трансформирующих импульсы, посылаемые в обоих направлениях. Сам Океан принимал активное участие в разработке этих аппаратов. Работа шла вслепую. Что означали слова «принимал участие в разработке»? Океан модифицировал некоторые узлы погружаемых в него приборов, в результате чего менялись записываемые ритмы разрядов; регистрирующая аппаратура отмечала мириады сигналов, напоминающих обрывки сложнейших математических операций, но что это было? Может, это были данные о временном возбуждении Океана? А может, импульсы, где-то далеко, за тысячи миль от исследователей, порождающие его огромные образования?

Или переведенные на никому не доступный электронный язык отражения извечных истин этого Океана? Или его произведения искусства? Кто же мог дать ответ, если невозможно было дважды получить одну и ту же реакцию на раздражитель? Если Океан откликался то взрывом импульсов, чуть не разносившим на куски аппаратуру, то глухим молчанием? Если ни один опыт нельзя было повторить? Все время казалось, что мы вот-вот расшифруем непрестанно растущую лавину записей; для переработки этой информации создавались электронные машины такой мощности, какой не требовало до сих пор решение ни одной проблемы. Действительно, некоторые результаты удалось получить. Океан — источник электрических, магнитных, гравитационных импульсов — говорил как будто бы на математическом языке. Некоторые всплески его разрядов можно было классифицировать, используя наиболее отвлеченные области математики, теорию множеств; там появлялись гомологи структур, известных в той области физики, которая рассматривает вопрос взаимоотношения энергии и материи, конечных и бесконечных величин, частиц и полей. Все это склоняло ученых к убеждению, что перед

ними — мыслящее чудовище, скажем, нечто вроде исполински разросшегося, опоясавшего всю планету, протоплазматического моря-мозга, который проводит время в невиданных по своей широте теоретических рассуждениях о сущности мироздания, а наши аппараты улавливают лишь незначительные, случайно подслушанные обрывки этого извечного, глубинного, превосходящего всякую возможность нашего понимания гигантского монолога.

Таково было мнение математиков. Их гипотезы одни рассматривали как пренебрежение к человеческим возможностям, как преклонение перед чем-то, чего мы еще не понимаем, как попытку воскресить древнюю доктрину «Ignoramus et ignorabimus»[2]; другие же считали, что все это вредные и бесплодные разглагольствования, что в гипотезах математиков отражается мифология наших дней, усматривающая в гигантском мозге, безразлично, электронном или плазматическом, высшую цель существования, сумму бытия.

А некоторые... Впрочем, исследователей и точек зрения было бесконечное множество. А ведь, кроме поисков контакта, существовали и другие

---

[2] notes: 2
«Мы не знаем и не узнаем» (лат.).

области соляристики, где специализация стала такой узкой, особенно за последнюю четверть века, что солярист-кибернетик и солярист-симметриадолог с трудом понимали друг друга. «Как же вы договоритесь с Океаном, если друг с другом договориться не можете?» — в шутку спросил как-то Вейбеке, который в мои студенческие годы был директором Института. В его шутке было немало правды.

Океан не случайно был отнесен к классу метаморфных. Его движущаяся поверхность могла давать начало самым различным формам, совершенно не похожим на земные, причем целенаправленность — адаптационная, познавательная или какая-либо другая — этих нередко бурных извержений плазматического «творчества» оставалась абсолютной загадкой.

Ставя обратно на полку том, такой тяжелый, что мне пришлось поддерживать его обеими руками, я подумал, что наши сведения о планете Солярис, заполняющие библиотеки, — бесполезный балласт. Мы увязли в фактах, но знаем не больше, чем семьдесят лет назад, когда начинали их собирать. Впрочем, мы в худшей ситуации — ведь весь труд этих лет оказался напрасным.

Наши точные сведения состояли из одних

только отрицательных суждений. Океан не пользовался машинами и не строил их, хотя в определенных условиях казался способным к этому — он иногда копировал части погруженной в него аппаратуры; делал он это лишь на первом и втором году исследовательских работ; потом он игнорировал все повторяемые с бесконечным терпением опыты, словно потерял всякий интерес к нашим приборам и изделиям, а может, и к нам самим... Океан не обладал — я продолжаю перечислять наши «отрицательные» сведения — ни нервной системой, ни клетками, ни структурой, напоминающей белковую; он не всегда реагировал на раздражители, даже на самые сильные (так, он полностью «проигнорировал» катастрофу вспомогательного ракетного корабля второй экспедиции Гизе, упавшего с высоты трехсот километров на поверхность планеты и уничтожившего ядерным взрывом своих атомных реакторов плазму в радиусе полутора миль).

Постепенно в научных кругах «дело Солярис» стало звучать как «безнадежное дело», а среди ученых, руководивших Институтом, в последние годы раздавались голоса, требовавшие урезать дотации на дальнейшие исследования. Заговорить о ликвидации Станции пока никто не

осмеливался; это было бы явным признанием поражения. Впрочем, кое-кто в частных беседах замечал, что самое главное — по возможности «почетно» закончить «аферу Солярис».

Однако для многих, особенно для молодежи, «афера» постепенно становилась чем-то вроде пробного камня. «В сущности, — говорили они, — дело не в разгадке солярийской цивилизации, а в нас самих, в границах человеческого познания».

Одно время была популярна точка зрения (усердно распространяемая газетами), что мыслящий Океан, омывающий всю планету Солярис, — гигантский мозг, опередивший в своем развитии нашу цивилизацию на миллионы лет, что это какой-то «космический йог», мудрец, воплощенное всеведение, что он уже давно постиг тщетность всякого действия и поэтому встречает нас полным безмолвием. Но это был ложный взгляд. Живой Океан действует, да еще как! Правда, он действует иначе, чем представляют себе люди: он не строит ни городов, ни мостов, ни летательных аппаратов, не пытается ни победить, ни преодолеть пространство (те, кто старался любой ценой доказать превосходство человека, усматривали в этом наше неоценимое преимущество). Он занят тысячекратными превращениями, —

«онтологическим аутометаморфозом» (ученых терминов на страницах соляристических трудов было предостаточно!).

Тому, кто станет тщательно изучать всевозможные данные о планете Солярис, трудно избавиться от впечатления, что перед ним обломки интеллектуальных построений, быть может и гениальных, перемешанные как попало с плодами полнейшей, граничащей с безумием глупости. Поэтому в противоположность концепции «Океана-йога» родилась теория «Океана-дебила».

Эти гипотезы вновь воскресили одну из древнейших философских проблем: проблему взаимоотношения материи и духа, сознания. Тому, кто первым, как Дю-Гаарт, наделил Океан сознанием, требовалось немало мужества. Проблема, которую сразу же признали метафизической, незримо присутствовала почти во всех дискуссиях и спорах. Возможно ли мышление вне сознания? Можно ли процессы, происходящие в Океане, назвать мышлением? Справедливо ли утверждение, что гора не что иное, как очень большой камень, а планета не что иное, как очень большая гора? Можно пользоваться этими терминами, однако новое соотношение величин раскрывает иные закономерности и иные явления.

Проблема эта стала современной квадратурой круга. Каждый самостоятельно мыслящий ученый старался внести в сокровищницу соляристики свой вклад; появлялось множество теорий. Одни из них утверждали, что перед нами продукт вырождения, регресса, наступившего после фазы «интеллектуального расцвета» Океана. Другие объявляли Океан глеевым новообразованием, которое, зародившись в телах прежних жителей планеты, разъело и поглотило их, сплавив останки в вечно существующую, самоомолаживающуюся, внеклеточную стихию.

Лампы излучали белый, похожий на земной, свет. Я снял со стола приборы и книги, разложил на пластиковой доске карту Солярис и, опираясь руками о металлические края стола, начал рассматривать ее. У живого Океана были свои отмели и глубины, а налет выветривающихся минералов, покрывающий его острова, свидетельствовал, что когда-то эти острова были дном Океана. Регулировал ли он также перемещение на поверхность и в глубину скрывавшихся в нем твердых пород, было совершенно неясно. Я снова, как в детстве, когда впервые услышал в школе о существовании Солярис, был потрясен видом огромных полушарий, раскрашенных в разные

тона фиолетового и голубого цветов.

Не знаю почему, но все: и неотступно ждущая разгадки тайна смерти Гибаряна, и даже мое неизвестное будущее — показалось мне вдруг таким незначительным. Я ни о чем не думал, погруженный в созерцание карты, никого не оставлявшей равнодушным.

Отдельные участки «живообразования» были названы именами исследователей, посвятивших себя их изучению. Рассматривая омывающий экваториальные архипелаги глеемассив Тексалла, я вдруг почувствовал чей-то взгляд.

Я все еще стоял над картой, но уже не видел ее, оцепенев от страха. Дверь напротив меня была забаррикадирована ящиками и придвинутым к ним шкафчиком. Наверное, робот, подумал я, хотя до этого в комнате не было ни одного робота, а войти незаметно он не мог. Кожу на шее и спине начало жечь, ощущение тяжелого неподвижного взгляда становилось невыносимым. Я бессознательно втягивал голову в плечи и все сильнее опирался о стол. Вдруг стол медленно заскользил по полу. Я пришел в себя и резко обернулся.

Комната была пуста. Передо мной зияла чернота большого полукруглого иллюминатора. Странное чувство не исчезало. На меня смотрела

темнота — необъятная, безликая, безглазая, безграничная. За стеклами, во мраке, не светилась ни одна звезда. Я задернул светонепроницаемые шторы. Не пробыв на Станции и часа, я уже начинал понимать, почему здесь у некоторых возникает мания преследования. Невольно вспомнилась смерть Гибаряна. Я хорошо знал его и до сих пор был уверен, что он ни при каких обстоятельствах не потерял бы ясности ума. Теперь эта уверенность исчезла.

Я стоял посреди комнаты возле стола. Дыхание стало спокойнее, пот на лбу высыхал. О чем же я только что думал? А, о роботах. Я не видел их ни в коридоре, ни в комнатах. Странно. Куда они все подевались? Единственный, с которым я имел дело — и то на расстоянии, — обслуживал космодром. А где остальные?

Я посмотрел на часы. Пора было идти к Снауту.

Я вышел. Коридор довольно слабо освещали люминесцентные лампы под потолком. Миновав две двери, я дошел до третьей, с табличкой «Д-р Гибарян». Я долго стоял перед ней. На Станции было тихо. Я взялся за дверную ручку. По правде говоря, мне совсем не хотелось туда входить. Ручка повернулась, дверь на дюйм отодвинулась, образовалась щель, сначала черная, потом в

комнате зажегся свет. Теперь меня мог увидеть каждый, кто шел по коридору. Я быстро перешагнул порог, бесшумно и плотно задвинул за собой дверь. Потом повернулся.

Я стоял, почти касаясь спиной двери. Комната была больше моей, с таким же обзорным иллюминатором, на три четверти задернутым занавеской с розовыми и голубыми цветочками, несомненно привезенной с Земли. Вдоль стен — книжные полки и шкафчики, выкрашенные в бледно-зеленый цвет, отливавший серебром. Их содержимое свалено прямо на пол, между табуретками и креслами. Передо мной — два шагающих столика, перевернутых и частично погребенных под кипами журналов в разорванных папках. Раскрытые веером страницы книг залиты жидкостями из разбитых колб и флаконов с притертыми пробками. Колбы и флаконы были из такого толстого стекла, что, просто упав на пол, даже с большой высоты, ни за что не разбились бы. Под окном — перевернутый письменный стол с разбитой настольной лампой на раздвижном кронштейне, ножки табурета всунуты в выдвинутые ящики стола. Весь пол усыпан карточками, исписанными листками, какими-то бумагами. Я узнал почерк Гибаряна. Поднимая разрозненные

листки, я заметил, что моя рука отбрасывает не одну, а две тени.

Я обернулся. Розовая занавеска пылала, словно подожженная сверху. Резкая линия ослепительно голубого огня разгоралась с каждой секундой. Я отдернул занавеску — в глаза ударил невиданный пожар. Он охватывал треть горизонта. Длинные, чудовищно вытянутые переплетенные тени бежали между волнами к Станции. Это был восход. В той зоне, где находилась Станция, после ночи, длившейся всего один час, на небо поднималось второе, голубое солнце.

Автоматический выключатель погасил светильники. Я вернулся к разбросанным бумагам. Среди них я нашел краткое описание опыта, намеченного три недели назад: Гибарян намеревался воздействовать на плазму сверхжестким излучением. По содержанию я понял, что держу в руках копию инструкции для Сарториуса, который должен был провести эксперимент. Белые листы бумаги слепили глаза. Наступивший день отличался от предыдущего. Под оранжевым небом остывавшего солнца Океан — чернильный с кровавыми отблесками — почти всегда покрывала грязно-розовая мгла, в ней сливались небосвод, тучи и волны. Теперь все исчезло. Да-

же сквозь розовую ткань свет напоминал лучи мощной кварцевой лампы. Загар на моих руках выглядел почти серым. Комната изменилась: предметы красного цвета стали блекло-коричневыми, как сырая печенка, а белый, зеленый и желтый цвета — такими резкими, будто излучали собственное сияние. Прищурившись, я посмотрел в иллюминатор: вверху пылало белое море огня, внизу колыхался и дрожал жидкий металл. Я зажмурился: в глазах поплыли красные круги. На умывальнике (край его был разбит) я заметил черные очки и надел их — они закрыли почти пол-лица. Занавеска светилась теперь, как пламя натрия. Я стал читать дальше, подбирая листы и складывая их на единственном неперевернутом столике. Части текста не хватало.

Дальше шли протоколы уже проведенных опытов. Из них я узнал, что в течение четырех дней в точке, отстоявшей на тысячу четыреста миль к северо-востоку от теперешнего положения Станции, на Океан воздействовали облучением. Для меня это было полной неожиданностью — ведь из-за губительного действия сверхжестких лучей их применение запрещено конвенцией ООН. Я был абсолютно уверен, что никто не запрашивал у Земли разрешения на такие эксперименты.

Подняв голову, я заметил в зеркале приоткрытой дверцы шкафа свое отражение: мертвенно-бледное лицо и черные очки. Комната, пылавшая белым и голубым, выглядела совершенно невероятно. Через несколько минут послышался протяжный скрежет, и снаружи иллюминатор закрыла светонепроницаемая заслонка; потемнело, зажегся искусственный свет, казавшийся теперь странно тусклым; становилось все жарче, ритмичные звуки кондиционера стали похожи на отчаянное поскуливание — холодильные установки Станции работали на полную мощность. И все же мертвящий зной нарастал. Послышались шаги. Кто-то шел по коридору. Стараясь не шуметь, я в два прыжка очутился у двери. Шаги стали медленнее и смолкли. Тот, кто шел, остановился. Дверная ручка чуть повернулась. Я инстинктивно схватил ее и придержал. Тот, с другой стороны двери, по-прежнему нажимал на ручку, молча, словно захваченный врасплох. Так мы простояли довольно долго. Вдруг ручка подпрыгнула в моей ладони — ее отпустили. Раздался слабый шорох — тот уходил. Я подождал, прислушиваясь, — ни звука.

Гости

Я торопливо сложил вчетверо и спрятал в карман заметки Гибаряна, медленно подошел к шкафу и заглянул в него: комбинезоны и одежда были смяты и сдвинуты в один угол, словно там кто-то прятался. Из-под бумаг на полу выглядывал уголок конверта. Я поднял его: на нем стояло мое имя. Спазма перехватила мне горло. Я распечатал конверт и, пересилив себя, развернул небольшой листок бумаги, вложенный в него.

Своим необыкновенно мелким четким почерком Гибарян записал: «Соляристический ежегодник, т. I, прилож., а также особ. мн. Мессенджера о ф.; «Малый Апокриф» Равинцера». И все. Больше ни слова. Вероятно, писавший торопился. Может, это что-нибудь важное? Когда он писал? Нужно как можно скорее пойти в библиотеку. О приложении к первому тому «Соляристического ежегодника» я знал, то есть слышал, что оно существует, но никогда не держал его в руках, поскольку оно представляло собой только историческую ценность. Однако я понятия не имел ни о Равинцере, ни о «Малом Апокрифе».

Что делать?

Я уже опаздывал на четверть часа. От двери я еще раз оглядел всю комнату. Только теперь я заметил закрепленную вертикально у стены складную койку — ее заслоняла развернутая карта Солярис. За картой что-то висело. Это был карманный магнитофон в футляре. Я вынул аппарат, футляр повесил на прежнее место, а магнитофон сунул в карман. Судя по счетчику, почти вся кассета была использована.

Зажмурившись, я секунду постоял у двери, напряженно вслушиваясь. Тишина. Я открыл дверь, коридор показался мне черной пропастью; я снял очки и увидел слабый свет ламп. Закрыв за собой дверь, я пошел влево, к радиостанции.

Я приблизился к круглой камере, от которой наподобие колесных спиц расходились коридоры. Минуя какой-то тесный боковой проход, кажется к душевым, я увидел крупную, неясно очерченную, почти сливающуюся с полумраком фигуру.

Я остановился как вкопанный. Из глубины коридора неторопливой, переваливающейся походкой шла огромная негритянка. Я увидел блеск ее белков и почти одновременно услышал мягкое шлепанье босых ступней. На ней была только набедренная повязка, желтоватая, бле-

стящая, словно сплетенная из соломы; огромные груди отвисли, а черные руки были толщиной с ляжку обычного человека; она прошла в метре от меня, даже не взглянув в мою сторону, и удалилась, покачивая слоновьим задом, похожая на те древние каменные изображения, которые встречаются иногда в антропологических музеях. Там, где коридор сворачивал, она повернулась и исчезла в кабине Гибаряна. Открывая дверь, она на миг попала в полосу света, падавшего из комнаты. Дверь тихо закрылась, и я остался один. Правой рукой я схватил кисть левой и стиснул изо всех сил, так, что захрустели кости. Потом растерянно огляделся. Что происходит? Что это? Вспомнив предостережение Снаута, я вздрогнул, как от удара. Что оно означало? Кто эта чудовищная Афродита? Откуда она? Я сделал один, только один шаг к кабине Гибаряна и застыл. Я прекрасно понимал, что не войду туда. Я глубоко втянул воздух, что-то было не так... Ах, да! Ведь я подсознательно ждал неприятного, резкого запаха пота, но, даже когда она проходила мимо меня, ничего не почувствовал.

Не знаю, сколько я простоял, опершись о холодный металл стены. На Станции не раздавалось ни звука, кроме далекого монотонного писка

кондиционеров.

Я похлопал себя по щекам, чтобы опомниться, и медленно направился к радиостанции. Когда я поворачивал ручку, раздался резкий голос:

— Кто там?

— Это я, Кельвин.

Снаут сидел за столиком между грудой алюминиевых коробок и пультом передатчика и ел прямо из банки мясные консервы. Не знаю, почему он поселился на радиостанции. Ошеломленный, я стоял в дверях, глядя на его нервно жующие челюсти, и вдруг почувствовал, что голоден. Я подошел к полкам, из стопки тарелок выбрал не очень пыльную и сел напротив Снаута. Сначала мы ели молча; потом Снаут встал, вынул из стенного шкафа термос и налил по стакану горячего бульона. Ставя термос на пол (на столике уже не было места), он спросил:

— Ты видел Сарториуса?

— Нет. Где он?

— Наверху.

Наверху помещалась лаборатория. Мы снова замолчали. Банку мы выскоблили дочиста. На радиостанции была ночь. Иллюминатор был плотно закрыт снаружи, на потолке горело четыре круглых светильника. Их отражения дрожали

в пластиковом корпусе передатчика.

На обтянутых кожей скулах Снаута проступали красные жилки. Он был теперь в черном просторном обтрепанном свитере.

— Что с тобой? — спросил Снаут.

— Ничего. А что?

— Ты вспотел.

Я вытер рукой лоб. Действительно, я весь обливался потом. Это, вероятно, была реакция. Снаут ждал. Рассказать ему? Я хотел, чтобы Снаут сам проявил ко мне больше доверия. Кто тут вел игру? Против кого? И какую?

— Жарко. Я думал, что кондиционеры у вас лучше работают.

— Через часок температура будет нормальная. А ты только от жары вспотел?

Он уставился на меня. Я старательно жевал, притворяясь, будто не замечаю его взгляда.

— Что ты собираешься делать? — спросил Снаут, когда мы кончили есть.

Он бросил всю посуду и пустые банки в умывальник у стены и опять сел в кресло.

— Присоединюсь к вашей работе, — флегматично ответил я. — У вас ведь есть какой-то план исследований? Какой-то новый раздражитель, кажется рентген или что-то в этом роде, да?

— Рентген? — удивился Снаут. — От кого ты услышал?

— Не помню. Кто-то мне говорил. Может, на «Прометее». А что? Вы уже его применяете?

— Подробности мне не известны. Это была идея Гибаряна. Он начал вместе с Сарториусом. Но откуда ты об этом знаешь?

Я пожал плечами.

— Тебе не известны подробности? Ты должен присутствовать при опытах, ведь это входит в круг твоих обязанностей... — Я не закончил.

Снаут молчал. Писк кондиционеров затих, температура была сносной. В воздухе висел только беспрерывный высокий звук, напоминающий жужжание мухи в паутине. Снаут встал, подошел к пульту управления и бессмысленно принялся щелкать переключателями — главный рубильник был выключен. Спустя некоторое время он, не поворачивая головы, заметил:

— Надо будет все оформить... знаешь...

— Да?

Он повернулся и посмотрел на меня чуть ли не с бешенством. Не могу сказать, что я умышленно старался вывести его из равновесия. Просто, ничего не понимая в игре, которая тут происходила, я предпочитал быть сдержанным. Под воротом

черного свитера у него двигался острый кадык.

— Ты был у Гибаряна, — сказал Снаут неожиданно.

Это не был вопрос. Я спокойно смотрел ему в лицо.

— Ты был в его комнате, — повторил он.

Я кивнул, как бы говоря: «Ну, предположим». Мне хотелось, чтобы он продолжал.

— Кто там был? — спросил Снаут. Он знал о ней!!!

— Никого. А кто там мог быть? — спросил я.

— Тогда почему ты меня не впустил?

Я усмехнулся.

— Испугался. Ты же меня предупреждал. Когда ручка повернулась, я инстинктивно придержал ее. Почему ты не сказал, что это ты? Я бы тебя впустил.

— Я думал, что там Сарториус, — произнес он неуверенно.

— Ну и что?

— Как ты думаешь... Что там произошло? — ответил он вопросом на вопрос.

Я колебался.

— Ты должен знать лучше меня. Где он?

— В холодильнике, — тотчас объяснил Снаут. — Мы перенесли его сразу же утром... из-за жары.

— Где ты его нашел?

— В шкафу.

— В шкафу? Он уже был мертв?

— Сердце еще билось, но он уже не дышал. Это была агония.

— Ты пытался его спасти?

— Нет.

— Почему?

Снаут помедлил.

— Я не успел. Он умер прежде, чем я его положил.

— Он стоял в шкафу? Между комбинезонами?

— Да.

Снаут взял с небольшого письменного стола в углу листок бумаги и положил его передо мной.

— Я набросал предварительный акт, — проговорил он. — Хорошо, что ты осмотрел комнату. Причина смерти... смертельная доза перностала. Там написано.

Я пробежал глазами краткий текст.

— Самоубийство... — повторил я тихо. — А причина?..

— Нервное расстройство... депрессия... или как это называется, в этом ты разбираешься лучше меня.

— Я разбираюсь только в том, что сам вижу,

— возразил я и посмотрел ему в глаза.

— Что ты хочешь этим сказать? — спокойно спросил Снаут.

— Он ввел себе перностал и спрятался в шкаф? Если было именно так, то это не депрессия, не нервное расстройство, а острый психоз. Паранойя... Вероятно, ему казалось, будто он что-то видит... — продолжал я все медленней, глядя в упор на Снаута.

Он отошел к радиопульту и снова начал щелкать переключателями.

— Здесь твоя подпись, — заговорил я после минутного молчания. — А Сарториус?

— Он в лаборатории. Я уже сказал тебе. Он не показывается, я думаю...

— Что?

— Что он заперся.

— Заперся? Ах, заперся. Вот как. Может, забаррикадировался?

— Может быть.

— Снаут, — начал я, — на Станции кто-то есть.

— Ты видел?!

Он нагнулся ко мне.

— Ты предостерегал меня. От кого? Это галлюцинация?

— Что ты видел?

— Это человек, да?

Снаут не ответил. Он отвернулся к стене, вероятно желая спрятать от меня лицо. Он барабанил пальцами по металлической перегородке. Я заметил, что на них уже не было крови. И меня осенило.

— Этот человек реален, — проговорил я тихо, почти шепотом, словно нас могли подслушать. — Да? До него можно дотронуться? Его можно... ранить... последний раз ты видел его сегодня.

— Откуда ты знаешь? — Снаут стоял не поворачиваясь, касаясь грудью стены, пригвожденный к ней моими словами.

— Прямо перед моей посадкой. Незадолго до этого?

Снаут сжался, как от удара. Я увидел его обезумевшие глаза.

— Ты?!! — выдавил он из себя. — А ты-то сам кто?!

Казалось, он вот-вот бросится на меня. Этого я не ожидал. Все стало с ног на голову. Он не верит, что я тот, за кого себя выдаю? Что это значит?! Он смотрел на меня с непередаваемым ужасом. Сумасшествие? Отравление? Все возможно. Но я видел... Видел это чудовище, а значит, и я сам... тоже?..

— Кто это был? — спросил я.

Мои слова несколько успокоили Снаута, но взгляд его все еще оставался недоверчивым. Я уже понимал, что сделал ложный шаг и что он мне не ответит.

Снаут медленно опустился в кресло и обхватил голову руками.

— Что тут творится?.. — тихо начал он. — Бред...

— Кто это был? — повторил я.

— Если ты не знаешь... — буркнул он.

— То что?

— Ничего.

— Снаут, — проговорил я, — мы не дома. Давай играть в открытую. Все и так запуталось.

— Что тебе нужно?

— Мне нужно, чтобы ты сказал, кого ты видел.

— А ты?.. — подозрительно произнес он.

— Снаут, ты ходишь по кругу. Я скажу тебе, и ты мне скажи. Можешь не волноваться, я не приму тебя за сумасшедшего, так как знаю...

— За сумасшедшего? Господи, Боже мой! — Он попытался рассмеяться. — Милый мой, да ты ничего... Совершенно ничего... Безумие было бы спасением. Если бы он хоть на минуту поверил, что сошел с ума, он не поступил бы так, он был

бы жив...

— Значит, ты солгал, написав в акте о нервном расстройстве?

— Разумеется!

— Почему же не написать правду?

— Почему? — переспросил он.

Наступило молчание. Я снова зашел в тупик, я опять ничего не понимал, ведь мне показалось, что я смогу убедить его и мы сообща попробуем разгадать загадку. Почему, почему он не хочет говорить?

— Где роботы?

— На складе. Мы заперли всех, кроме тех, кто на космодроме.

— Зачем?

Он не ответил.

— Ты не скажешь?

— Я не могу.

Что за чертовщина? Может, пойти наверх, к Сарториусу? Вдруг я вспомнил записку, она показалась мне самым важным.

— Как же мы будем работать в таких условиях?

Снаут презрительно пожал плечами.

— Какое это имеет значение?

— Ах, даже так? Что же ты намерен делать?

Снаут молчал. Где-то вдали зашлепали босые ноги. Среди никеля и пластика, высоких шкафов с электронной аппаратурой, стекла, точных приборов это ленивое шлепанье звучало как дурацкая шутка какого-то безумца. Шаги приближались. Я встал, напряженно следя за Снаутом. Он прислушивался сощурившись, но вовсе не выглядел испуганным. Значит, он боялся *не ее*?

— Откуда она взялась? — спросил я.

Ответа не последовало.

— Ты не хочешь говорить?

— Мне не известно.

— Ладно.

Шаги удалились и затихли.

— Не веришь? — проговорил Снаут. — Честное слово, я не знаю.

Я открыл шкаф и стал раздвигать тяжелые неуклюжие скафандры. Как я и предполагал, в глубине, на крюках, висели газовые пистолеты для полета в пространстве без гравитации. Конечно, они не оружие, но газовый пистолет лучше, чем ничего. Я проверил заряд и повесил пистолет в футляре на плечо. Снаут внимательно наблюдал за мной. Когда я подгонял длину ремешка, он язвительно усмехнулся, обнажив желтые зубы.

— Счастливой охоты!

— Спасибо тебе за все, — сказал я, направляясь к двери.

Он вскочил с кресла.

— Кельвин!

Я поглядел на него. Он уже не улыбался. Пожалуй, я никогда не видел такого измученного лица.

— Кельвин, это не... я... я действительно не могу, — бормотал Снаут.

Я ждал, скажет ли он что-нибудь еще, но он только беззвучно шевелил губами. Я повернулся и вышел.

Сарториус

Пустой коридор тянулся сначала прямо, а потом сворачивал вправо. Я никогда не был на Станции, но во время подготовки прожил шесть недель в ее точной копии, находящейся в Институте, на Земле. Я знал, куда ведет алюминиевый трап. Свет в библиотеке не горел. Я ощупью нашел выключатель. Когда я отыскал в картотеке приложение к первому тому «Соляристического ежегодника» и нажал клавишу, в ответ загорелся красный огонек. Я проверил в регистрационном устройстве — и эта книга, и «Малый Апокриф» были у Гибаряна. Погасив свет, я спустился обратно. Мне было страшно идти к Гибаряну, хотя я недавно слышал, как она ушла. Она ведь могла туда вернуться. Я постоял возле двери, потом, стиснув зубы, заставил себя войти.

В освещенной кабине никого не было. Я стал перебирать книги, лежавшие на полу под иллюминатором; потом подошел к шкафу и закрыл его, чтобы не видеть пустое место между комбинезонами. Под иллюминатором приложения не было. Я методически перекладывал том за

томом и наконец, дойдя до последней кипы книг, валявшейся между койкой и шкафом, нашел то, что искал.

Я надеялся обнаружить в книге какой-нибудь след — и действительно, в именном указателе лежала закладка, красным карандашом была отчеркнута фамилия, ничего мне не говорившая, — Андре Бертон. Эта фамилия встречалась на двух страницах. Взглянув на первую, я узнал, что Бертон был запасным пилотом на корабле Шенагана. Следующее упоминание о нем помещалось через сто с лишним страниц.

Сразу после высадки экспедиция соблюдала чрезвычайную осторожность, но, когда через шестнадцать дней выяснилось, что плазматический Океан не только не обнаруживает никаких признаков агрессивности, но даже отступает перед каждым приближающимся к его поверхности предметом и, как может, избегает непосредственного контакта с аппаратурой и людьми, Шенаган и его заместитель Тимолис отменили часть особых мер, продиктованных осторожностью, так как эти меры невероятно затрудняли и задерживали работы.

Затем экспедиция была разделена на небольшие группы из двух-трех человек, совершавшие

над Океаном полеты иногда на расстояние нескольких сотен миль; лучеметы, ранее прикрывавшие и ограждавшие участок работ, были оставлены на Базе. Четыре дня после этих перемен прошли без каких-либо происшествий, если не считать того, что время от времени выходила из строя кислородная аппаратура скафандров, так как выводные клапаны оказались чувствительными к ядовитой атмосфере планеты. Поэтому чуть ли не ежедневно их приходилось заменять.

На пятый (или двадцать первый, считая с момента высадки) день двое ученых, Каруччи и Фехнер (первый был радиобиологом, а второй — физиком), отправились в исследовательский полет над Океаном на маленьком двухместном аэромобиле. Это была машина на воздушной подушке.

Когда через шесть часов они не вернулись, Тимолис, который руководил Базой в отсутствие Шенагана, объявил тревогу и выслал всех, кто был под рукой, на поиски. По роковому стечению обстоятельств радиосвязь в тот день приблизительно через час после выхода поисковых групп прервалась; это было вызвано большим пятном на красном солнце, выбрасывавшим мощный поток частиц в верхние слои атмосфе-

ры. Действовали только ультракоротковолновые передатчики, позволявшие переговариваться на расстоянии каких-нибудь двадцати миль. К тому же перед заходом солнца сгустился туман, и поиски пришлось прекратить.

Когда спасательные группы уже возвращались на Базу, одна из них всего в восьмидесяти милях от берега обнаружила аэромобиль. Мотор работал, машина, не поврежденная, скользила над волнами. В прозрачной кабине находился только один человек — Каруччи. Он был почти без сознания.

Аэромобиль доставили на Базу, а Каруччи отдали на попечение врачей. В тот же вечер он пришел в себя. О судьбе Фехнера он ничего не мог сказать. Каруччи помнил только одно: когда они уже собирались возвращаться, он почувствовал удушье. Выводной клапан его аппарата заедало, и в скафандр при каждом вдохе просачивались ядовитые газы.

Фехнеру, пытавшемуся исправить его аппарат, пришлось отстегнуть ремни и встать. Это было последнее, что помнил Каруччи. События, по заключению специалистов, вероятно, происходили так: исправляя аппарат Каруччи, Фехнер открыл кабину, скорее всего потому, что под

низким куполом не мог свободно передвигаться. Это допускалось: кабины в таких машинах не герметичны, они просто защищают от осадков и ветра. Кислородный аппарат Фехнера, вероятно, испортился, ученый в полуобморочном состоянии вылез наверх через люк и упал в Океан.

Это была первая жертва Океана. Поиски тела — в скафандре оно не могло утонуть — не дали никаких результатов. Впрочем, может, оно и плавало где-нибудь: тщательно обследовать тысячи квадратных миль жидкой пустыни, почти все время закрытой клочьями тумана, экспедиция не имела возможности.

До сумерек — я возвращаюсь к событиям того дня — прибыли обратно все спасательные машины, за исключением большого грузового геликоптера, на котором полетел Бертон.

Бертон появился над Базой почти через час после наступления темноты, когда за него уже стали тревожиться. Он был в состоянии нервного шока; он сам выбрался из геликоптера, но тут же бросился бежать. Когда его пытались удержать, он кричал и плакал; для мужчины, за плечами у которого семнадцать лет космических полетов, иногда в самых тяжелых условиях, это было невероятно.

Врачи предполагали, что Бертон тоже отравился. Даже относительно успокоившись, он ни за что не соглашался выйти из внутренних отсеков главной ракеты экспедиции и не решался подойти к иллюминатору, из которого был виден Океан. Через два дня Бертон заявил, что хочет подать рапорт о своем полете. Он настаивал, утверждал, что это чрезвычайно важно. Совет экспедиции изучил рапорт Бертона и признал его плодом больного мозга, отравленного атмосферными газами. Поэтому рапорт был приобщен не к истории экспедиции, а к истории болезни Бертона. На этом все и кончилось.

Вот что было сказано в приложении. Видимо, в рапорте Бертона излагалась суть дела — что именно довело пилота дальней космической экспедиции до нервного срыва. Я опять принялся перебирать книги, но «Малый Апокриф» мне найти не удалось. Усталость чувствовалась все сильнее, поэтому я отложил дальнейшие поиски на завтра и вышел из кабины. Проходя мимо алюминиевого трапа, я заметил на ступеньках отблески падавшего сверху света. Значит, Сарториус все еще работает! Я решил, что должен его увидеть.

Наверху было немного теплее. В широком

низком коридоре дул слабый ветерок. Полоски бумаги бились у вентиляционных отверстий. Дверь главной лаборатории представляла собой толстую плиту из неполированного стекла в металлической раме. Изнутри стекло было закрыто чем-то темным; свет проходил только сквозь узкие иллюминаторы под потолком. Я пытался открыть дверь, но она, как я и ожидал, не поддалась. В лаборатории было тихо, время от времени что-то слабо посвистывало — наверное, газовая горелка. Я постучал — никакого ответа.

— Сарториус, — позвал я. — Доктор Сарториус! Это я, Кельвин! Мне надо с вами поговорить, откройте, пожалуйста!

Слабый шелест, словно кто-то ступал по скомканной бумаге, и опять тишина.

— Это я, Кельвин! Вы же обо мне слышали! Я прилетел с «Прометея» несколько часов назад! — кричал я в дверную щель. — Доктор Сарториус! Со мной никого нет, я один! Откройте!

Ни звука. Потом слабый шелест. Звяканье металлических инструментов о лоток. И вдруг... Я оторопел. Раздались мелкие шажки, частый, торопливый топот маленьких ножек, можно было подумать, что вприпрыжку бежал ребенок. Или... или кто-то чрезвычайно умело подражал

ему, постукивая пальцами по пустой, хорошо резонирующей коробке.

— Доктор Сарториус! — вскипел я. — Откроете вы или нет?

Ответа не было. И опять — этот детский топот, и одновременно с ним — несколько быстрых, еле слышных широких шагов, словно человек шел на цыпочках. Но не мог же он одновременно подражать детскому топоту?! Какое мне до этого дело? — подумал я и, уже не сдерживая охватившего меня бешенства, рявкнул:

— Доктор Сарториус! Я летел сюда шестнадцать месяцев не затем, чтобы участвовать в вашей комедии! Считаю до десяти! Потом выломаю дверь!!!

Я сомневался, что мне это удастся.

Реактивная струя газового пистолета не очень сильна, но я твердо решил выполнить свою угрозу, даже если бы мне пришлось отправиться за взрывчаткой, которой на складе наверняка было предостаточно. Только не сдаваться, только не вести игру этими крапленными безумием картами, которые подсовывает мне под руку ситуация!

Раздался шум, за дверью боролись или что-то перетаскивали. Штора в середине раздвинулась на полметра; высокая, узкая тень появилась

на фоне матовой, будто заиндевевшей двери, и хрипловатый дискант произнес:

— Я открою, но обещайте, что вы не войдете.

— Тогда зачем открывать?! — заорал я.

— Я к вам выйду.

— Хорошо. Обещаю.

Тихо щелкнул ключ в замке; темный силуэт, заслонивший половину двери, старательно задернул штору; там продолжалась какая-то возня — я слышал треск, словно передвигали деревянный столик, наконец светлая плоскость приоткрылась, и Сарториус проскользнул в коридор.

Он стоял передо мной, загораживая собой дверь. Сарториус был чрезвычайно высок и худ — кожа да кости. На нем был кремовый трикотажный костюм, шея закутана черной косынкой; через плечо переброшен сложенный вдвое, прожженный химикатами защитный лабораторный фартук. Необыкновенно узкая голова наклонена вбок. Почти пол-лица закрывали защитные очки, и я не мог разглядеть его глаз. Нижняя челюсть выступала вперед, губы были синеватые, огромные уши, тоже синеватые, казались отмороженными. Он был небрит, на запястьях болтались антирадиационные перчатки из крас-

ной резины. Мы стояли так, глядя друг на друга с нескрываемой неприязнью. Его редкие волосы (видимо, он сам стриг их машинкой) были свинцового цвета, щетина — совсем седа. Лоб загорел, как у Снаута, но только до половины. Вероятно, на солнце Сарториус всегда ходил в каком-нибудь колпаке.

— Я к вашим услугам, — сказал Сарториус.

Мне казалось, что он не столько ждет, что я скажу, сколько, прижимаясь спиной к стеклу, напряженно все время прислушивается к тому, что происходит в лаборатории. Я не знал, с чего начать, боясь попасть впросак.

— Моя фамилия — Кельвин, — заговорил я. — Вы, вероятно, обо мне слышали. Я работаю... то есть... работал вместе с Гибаряном...

Его худое лицо, все в вертикальных морщинах (так, вероятно, выглядел Дон Кихот), ничего не выражало. Опущенное забрало защитных очков Сарториуса мешало мне говорить.

— Я узнал, что Гибаряна... нет в живых.

— Да. Продолжайте, — нетерпеливо проговорил он.

— Гибарян покончил с собой? Кто нашел тело — вы или Снаут?

— Почему вы у меня об этом спрашиваете?

Разве доктор Снаут не сказал вам?..

— Я хотел бы услышать, что вы можете сказать об этом...

— Вы психолог, доктор Кельвин?

— Да. А в чем дело?

— Ученый?

— Да. Какое это имеет отношение...

— Я думал, что вы следователь или полицейский. Сейчас два часа сорок минут. А вы пытаетесь насильно ворваться ко мне в лабораторию. Это было бы в конце концов понятно, если бы вы хотели ознакомиться с работами, ведущимися на Станции. А вы допрашиваете меня, будто я по меньшей мере нахожусь под подозрением.

Мне стоило такого труда сдержаться, что у меня на лбу выступил пот.

— Вы и находитесь под подозрением, Сарториус! — сказал я сдавленным голосом. Я хотел во что бы то ни стало задеть его самолюбие и поэтому добавил с ожесточением: — Вы сами прекрасно это знаете!

— Если вы не возьмете свои слова обратно и не извинитесь, я пожалуюсь на вас в очередной радиограмме, Кельвин!

— Извиниться? С какой стати? Вместо того чтобы принять меня и честно ознакомить с тем, что

тут происходит, вы запираетесь и баррикадируетесь в лаборатории. Вы что, с ума сошли? Кто вы? Ученый или мелкий трус? Отвечайте!

Не помню, что я еще кричал, но он даже не шелохнулся. По его бледной, пористой коже катились крупные капли пота. Вдруг я понял: он вообще меня не слушает. За спиной он обеими руками изо всех сил старался удержать дверь, которая чуть заметно вздрагивала — на нее нажимали с другой стороны.

— Уходите... — простонал вдруг он странным, писклявым голосом. — Ради Бога... идите вниз, я приду, приду, я сделаю все, что вы хотите, только уходите, пожалуйста!

В голосе его звучала невыносимая мука; совершенно обескураженный, я невольно поднял руку, чтобы помочь ему удержать дверь, — ведь это сейчас было для него важнее всего. Но тут Сарториус испустил дикий вопль, будто я замахнулся на него ножом. Я попятился, а он все кричал фальцетом: «Уходи! Уходи!» — и потом: «Я сейчас вернусь! Сейчас вернусь! Сейчас вернусь! Не надо! Не надо!!!»

Он приоткрыл дверь и метнулся в лабораторию. Мне показалось, что на уровне его груди мелькнуло что-то золотистое, какой-то блестящий

диск; из-за двери доносился глухой шум. Штора полетела в сторону, высокая тень промелькнула на стеклянном экране, штора снова задвинулась, больше ничего не было видно. Что там творится? Раздался топот, затем зазвенело разбитое стекло, сумасшедшая беготня прекратилась, и я услышал звонкий детский смех...

У меня подгибались ноги. Я огляделся по сторонам. Все смолкло. Я опустился на низкий пластиковый подоконник и просидел там минут пятнадцать. Не знаю, ждал ли я чего-то или просто не мог встать. Голова раскалывалась. Где-то высоко раздался протяжный скрежет, вокруг посветлело.

Я видел только часть коридора, кольцом опоясывавшего лабораторию. Она помещалась на самом верхнем ярусе Станции, прямо под обшивкой, поэтому стены коридора были вогнутыми и наклонными, иллюминаторы, отстоявшие на несколько метров друг от друга, напоминали амбразуры; наружные заслонки на них в это время поднимались. Голубой день подходил к концу. Сквозь толстые стекла хлынуло ослепительное сияние. Каждая никелированная рейка, каждая дверная ручка запылали, как маленькие солнца. Дверь в лабораторию — эта огромная плита из

неполированного стекла — вспыхнула голубым пламенем. Я посмотрел на свои руки, сложенные на коленях, — в призрачном свете они казались серыми. В правой руке я держал газовый пистолет — когда и как я вытащил его из футляра, не имею ни малейшего понятия. Пистолет я вложил обратно. Было ясно, что мне не поможет даже атомный лучемет — да и зачем он? Разнести дверь? Ворваться в лабораторию?

Я встал. Солнечный диск, погружаясь в волны Океана, напоминал водородный взрыв. Горизонтальный пучок лучей, почти материальных, коснулся моей щеки (я уже спускался по ступенькам) и обжег как раскаленным металлом.

На полпути я передумал и вернулся наверх. Обошел лабораторию. Как уже было сказано, коридор огибал ее; пройдя шагов сто, я оказался на другой стороне, напротив точно такой же стеклянной двери. Открыть ее я даже не пытался, твердо зная, что она заперта.

Я искал окошечко или хоть какую-нибудь щель в пластиковой стене; я не считал непорядочным подсматривать за Сарториусом. Мне надоели догадки, я хотел узнать правду, хотя даже не представлял себе, сумею ли понять ее.

Мне пришло в голову, что свет в лабораторные

помещения проникает сквозь иллюминаторы в потолке, то есть в верхней обшивке. Если я выберусь наружу, мне, возможно, удастся заглянуть вниз. Для этого нужно было спуститься за скафандром и кислородным аппаратом. Остановившись у трапа, я размышлял, стоит ли игра свеч. Вполне вероятно, что в верхних иллюминаторах стекло матовое. Но что еще придумать? Я спустился в средний ярус. Мне надо было пройти мимо радиостанции. Дверь ее была широко открыта. Снаут сидел в кресле в той же самой позе, в какой я его оставил. Он спал. При звуке моих шагов Снаут вздрогнул и открыл глаза.

— Алло, Кельвин! — хрипло окликнул он меня. Я промолчал.

— Ну? Ты узнал что-нибудь? — спросил Снаут.

— Пожалуй, — медленно ответил я. — Он не один.

Снаут состроил гримасу.

— Вот видишь. Это уже кое-что. Так у него кто-то в гостях?

— Не понимаю, почему вы не хотите объяснить, что это такое, — заметил я, притворяясь равнодушным. — Ведь, живя здесь, я рано или поздно все узнаю. Зачем же такая таинственность?

— Поймешь, когда к тебе самому придут гости,

— сказал Снаут.

Мне показалось, что он чего-то ждет и ему не очень хочется разговаривать.

— Куда ты идешь? — бросил он, когда я повернулся. Я не ответил.

Зал космодрома выглядел так же, как перед моим уходом. На возвышении стояла похожая на лопнувший кокон моя закопченная капсула. Я подошел к вешалкам со скафандрами, но мне вдруг расхотелось отправляться в путешествие. Я круто повернулся и спустился по винтовому трапу в складские помещения. Узкий коридор был забит баллонами и штабелями ящиков. Металлические стены синевато поблескивали. Через несколько десятков шагов под сводами появились белые от инея трубы холодильной установки. Я пошел вдоль них. Через муфту, заключенную в толстый пластиковый манжет, трубы входили в плотно закрытое помещение. Когда я открыл тяжелую, толщиной в две ладони дверь, обитую по краям резиной, на меня дохнуло пронизывающим холодом. Я поежился. С переплетения заиндевелых змеевиков свисали сосульки. И здесь стояли покрытые слоем снега ящики и контейнеры, полки вдоль стен были заставлены жестянками и желтоватыми глыбами

какого-то жира в прозрачном пластике. В глубине сводчатый потолок снижался. Там висела плотная, искрящаяся от изморози штора. Я отогнул ее край. На решетчатом алюминиевом столе лежало что-то большое, продолговатое, покрытое серой тканью. Приподняв ее, я увидел застывшее лицо Гибаряна. Черные волосы с седой прядкой на лбу были гладко причесаны, кадык торчал, словно шея была сломана. Запавшие глаза устремлены в потолок, в углу глазницы застыла мутная капля. Я так замерз, что с трудом сдерживал дрожь. Не выпуская из руки ткани, я другой рукой коснулся щеки Гибаряна. Ощущение было такое, как если бы я дотронулся до промерзшей древесины. Колючая черная щетина. В складках губ замерло выражение безграничного высокомерного терпения. Опуская край ткани, я заметил, что по другую сторону трупа из-под складок виднеется несколько черных, продолговатых бусин или фасолин, мелких и крупных. Я оцепенел.

Это были пальцы ног, выпуклые подушечки больших пальцев чуть расставлены. Под смятой тканью распласталась негритянка.

Она лежала ничком и казалась спящей. Постепенно, дюйм за дюймом, я стягивал грубую ткань. Голова, вся в иссиня-черных мелких завитках,

покоилась в изгибе такой же черной, массивной руки. На лоснящейся спине проступали бугорки позвонков. Исполинское тело было абсолютно неподвижным. Я еще раз взглянул на ее подошвы, меня поразила странная деталь: они не были деформированы, не стерлись и даже не огрубели от ходьбы босиком — кожа выглядела так же, как на спине и руках.

Чтобы убедиться в этом, я дотронулся до негритянки. Мне было гораздо труднее прикоснуться к ней, чем к трупу. И тут произошло нечто невероятное: лежащее на двадцатиградусном морозе тело зашевелилось. Негритянка поджала ногу, как это делает спящая собака, если ее взять за лапу.

Она здесь замерзнет, подумал я. Впрочем, ее тело на ощупь было мягким и не очень холодным. Я попятился, опустил штору и вышел в коридор. Мне показалось, что в нем страшно жарко. Трап вывел меня в зал космодрома. Усевшись на свернутом в рулон кольцевом парашюте, я обхватил голову руками. Меня будто избили. Что со мной творится? Я был раздавлен, мысли лавиной катились к пропасти. Потерять сознание, впасть в небытие было бы теперь невероятной, непостижимой милостью.

Зачем идти к Снауту или Сарториусу? Кто сможет свести воедино все то, что я до сих пор пережил, увидел и ощутил? Безумие — вот единственное объяснение, бегство, избавление. Вероятно, я сошел с ума, причем сразу же после посадки. Океан подействовал на мой мозг; у меня появляется одна галлюцинация за другой, а следовательно, не нужно тратить силы на бесплодные попытки разгадать несуществующие загадки, надо искать врачебную помощь, вызвать по радио «Прометей» или какой-нибудь другой корабль, подать сигнал бедствия.

Совершенно неожиданно мысль о сумасшествии успокоила меня. Теперь я прекрасно понимал слова Снаута — конечно, если вообще существовал какой-то Снаут и если я когда-либо с ним разговаривал; ведь галлюцинации могли начаться гораздо раньше. Как знать, может, я все еще на борту «Прометея» и у меня острый приступ душевной болезни? Неужели все пережитое порождено моим возбужденным мозгом? Но если я болен, то могу выздороветь, а это дает мне хотя бы надежду на избавление, которой я не в силах был отыскать в спутанных кошмарах моего краткого, насчитывавшего всего несколько часов солярийского опыта.

Итак, нужно было прежде всего провести какой-то продуманный, логичный эксперимент над самим собой, который показал бы мне, действительно ли я сошел с ума и стал жертвой собственного бреда или же мои переживания, несмотря на их абсурдность и невероятность, совершенно реальны.

Я размышлял об этом, рассматривая металлическую опору несущих конструкций космодрома. Это была выступавшая из стены, обшитая листовым металлом стальная мачта, покрашенная в бледно-зеленый цвет; в нескольких местах, на высоте приблизительно метра, краска облупилась, вероятно, поцарапанная ракетными тележками. Я коснулся стали, погрел ее ладонью, постучал по краю обшивки. Может ли бред быть таким реальным? Может, ответил я сам себе. В таких вещах я разбирался, недаром это была моя специальность. А можно ли придумать ключевое испытание? Сначала мне казалось, что нельзя — ведь мой больной мозг (если он действительно поражен болезнью) создаст любую иллюзию, какой я от него потребую. Ведь не только во время болезни, но и просто во сне мы, случается, разговариваем с людьми, которых нет, задаем им вопросы и слышим ответы; и, хотя эти люди на са-

мом деле всего лишь плод нашего воображения, своего рода временно обособленные, псевдосамостоятельные части нашей психики, мы все-таки не знаем, какие слова они произнесут, пока они (во сне) не заговорят с нами. А ведь в действительности эти слова родились в той, изолированной части нашего собственного сознания, то есть мы должны были бы знать их заранее, в этот момент, когда мы сами их придумали, чтобы вложить в уста приснившегося собеседника. Следовательно, что бы я ни запланировал, ни осуществил, я могу считать, что все произошло именно так, как происходит во сне. Ни Снаута, ни Сарториуса в действительности могло не быть, поэтому задавать им какие-либо вопросы бесполезно.

Мне пришло в голову, что можно принять какое-нибудь сильнодействующее средство, например пейотль или другой препарат, вызывающий обман чувств и яркие цветовые видения. Пережитые мною ощущения доказали бы, что принятый препарат существует на самом деле, что он — материальная часть окружающей действительности. Но и это, продолжал я размышлять, не было бы достоверным испытанием, поскольку я знаю, как подействует средство (ведь мне самому придется его выбирать), а следова-

тельно, вполне возможно, что и прием лекарства, и результаты будут попросту созданы моим воображением.

Казалось, мне уже не вырваться из заколдованного круга безумия — ведь можно мыслить только мозгом, нельзя очутиться вне самого себя, чтобы проверить, нормальны ли процессы, протекающие в организме, — и вдруг меня осенила мысль, простая и удачная.

Я вскочил и побежал на радиостанцию. Там никого не было. Мимоходом я взглянул на электрические стенные часы. Было около четырех часов ночи по условному времени Станции, за стенами занимался красный рассвет. Включив дальнюю радиосвязь и дожидаясь, пока она наладится, я еще раз продумал ход эксперимента.

Позывных автоматической станции околосолярийского Сателлоида я не помнил. Отыскав их на табличке над главным пультом, я послал вызов азбукой Морзе и через восемь секунд получил ответ. Сателлоид, точнее, его электронный мозг откликнулся ритмичным сигналом.

Я запросил данные о небесных меридианах, пересекаемых Сателлоидом каждые двадцать секунд при вращении вокруг Солярис, причем с точностью до пятого десятичного знака.

Потом я сел и стал ждать ответа. Он пришел через десять минут. Я оторвал бумажную ленту с результатом и спрятал ее в ящик стола. Затем я принес из библиотеки большие карты неба, логарифмические таблицы, журнал суточного вращения Сателлоида и несколько справочников и стал вычислять те же данные. Почти час я составлял уравнения; не помню, когда мне в последний раз приходилось столько считать, — наверное, еще в студенческие годы на экзамене по практической астрономии.

Расчеты я сделал на большом вычислителе Станции. Я рассуждал следующим образом: по картам неба я должен получить цифры, лишь отчасти совпадающие с данными Сателлоида. Отчасти потому, что Сателлоид испытывает весьма сложные пертурбации под влиянием гравитационного поля Солярис, ее обоих солнц, вращающихся относительно друг друга, а также местных изменений притяжения, вызываемых Океаном. Когда у меня будет два ряда цифр, переданных Сателлоидом и рассчитанных теоретически по картам неба, я внесу в свои расчеты поправки; тогда обе группы результатов должны совпасть вплоть до четвертого десятичного знака, лишь в пятом десятичном знаке возможны

расхождения, вызванные не поддающейся расчетам деятельностью Океана.

Если данные Сателлоида не существуют в действительности, а лишь порождены моим больным воображением, они не совпадут со вторым рядом чисел. Мой мозг может быть поражен болезнью, но он не в состоянии — ни при каких условиях — произвести расчеты, выполненные большим вычислителем Станции, потому что они потребовали бы многих месяцев. А из этого следует, что — если цифры совпадут — большой вычислитель Станции существует в действительности и я пользовался им наяву, а не в бреду.

У меня дрожали руки, когда я вынимал из ящика телеграфную ленту и раскладывал ее на столе рядом с такой же, только чуть пошире, лентой вычислителя. Оба ряда цифр совпадали, как я и предполагал, до четвертого знака включительно. Расхождения появлялись только в пятом.

Я убрал все бумаги в ящик. Значит, вычислитель существовал независимо от меня; следовательно, существовали и Станция, и все, что на ней происходило.

Собираясь задвинуть ящик, я заметил в нем целую стопку листов, исчерканных какими-то цифрами. Я вынул их; с первого же взгляда было

видно, что кто-то уже проводил эксперимент, похожий на мой. Только вместо данных о звездной сфере у Сателлоида запросили замеры освещенности планеты Солярис с сорокасекундными интервалами.

Я не сошел с ума. Последняя надежда исчезла. Я выключил передатчик, допил бульон из термоса и пошел спать.

Хэри

Я вычислял с какой-то молчаливой яростью, и только она держала меня на ногах. Отупев от усталости, я не смог даже откинуть койку в кабине: вместо того чтобы отцепить верхние зажимы, я тянул за край, пока вся постель не упала на меня. Наконец я опустил койку, сбросил с себя всю одежду и белье прямо на пол и почти без сознания свалился на подушку, даже не надув ее как следует. Заснул я при свете, когда — не помню. Открыв глаза, я решил, что спал всего несколько минут. Сумеречный красный свет заливал комнату. Было прохладно и приятно. Я лежал голый, ничем не укрывшись. Напротив койки, у наполовину закрытого иллюминатора, в лучах красного солнца кто-то сидел на стуле. Это была Хэри, в летнем платье, босая, нога на ногу, темные волосы зачесаны назад, тонкая ткань подчеркивала фигуру. Хэри опустила загоревшие до локтей руки и в упор глядела на меня из-под черных ресниц. Я долго совершенно спокойно рассматривал ее. Первой моей мыслью было: «Как хорошо, что это такой сон, когда знаешь, что

все снится». И все-таки лучше бы она исчезла. Закрыв глаза, я изо всех сил стал желать себе этого, но, когда открыл их, Хэри сидела в той же позе. Она состроила свою обычную лукавую гримаску, как бы собираясь свистнуть, но в глазах не было и тени улыбки. Я припомнил все, что думал о сновидениях вечером, прежде чем уснуть. Она ничуть не изменилась: точно такая же, как в тот последний раз, когда я видел ее живой. Тогда ей было девятнадцать лет; теперь было бы двадцать девять. Да, она, конечно, не изменилась — умершие не стареют. У нее были те же удивленно смотрящие на мир глаза; по-прежнему она не сводила с меня взгляда. Брошу-ка я в нее чем-нибудь, подумал я. И все-таки, хотя мне это только снилось, я не мог решиться даже во сне швырять вещами в умершую.

— Бедняжка, — сказал я, — ты пришла навестить меня, да?

Я немного испугался — мой голос прозвучал реально, а комната и Хэри выглядели отчетливо, как наяву.

Какой живой сон! Я не только различаю цвета, но и вижу на полу много вещей, на которые вчера, ложась спать, даже не обратил внимания. Когда я проснусь, надо будет проверить, лежат ли

они тут или просто снятся мне, как и Хэри.

— Ты долго собираешься так сидеть?.. — спросил я и заметил, что говорю тихо, чтобы никто не услышал, будто можно подслушать сон!

Тем временем солнце немного поднялось. Это уже не так плохо. Когда я лег спать, был красный день, потом должен наступить голубой, а только после него — второй красный. Не мог же я проспать беспробудно пятнадцать часов, значит, мне все снится.

Успокоившись, я хорошенько пригляделся к Хэри. Она сидела спиной к свету; луч, проникавший сквозь занавеску, золотил бархатистый пушок на ее левой щеке, а ресницы отбрасывали на лицо длинную тень. Она была очаровательна. Какой же я дотошный даже во сне: слежу за движением солнца и за тем, чтобы ямочка у Хэри была на своем месте — ниже уголка губ (больше ни у кого я не видел такой ямочки). Но лучше бы все это кончилось; мне же надо браться за дело. Я зажмурился, стараясь проснуться, и вдруг услышал скрип. Я тут же открыл глаза. Хэри сидела рядом со мной и внимательно смотрела на меня. Я улыбнулся ей, и она улыбнулась, наклонилась ко мне; первый поцелуй был мимолетным, совсем детским. Я целовал ее долго. Разве можно так вести себя во

сне? — думал я. Но ведь это даже не измена ее памяти, ведь это она мне снится, именно она. Такого со мной еще никогда не случалось... Мы по-прежнему молчали. Я лежал на спине; когда она поднимала лицо, я мог заглянуть в ее маленькие, пронизанные солнцем ноздри — постоянный барометр ее чувств; кончиками пальцев я обвел ее уши, порозовевшие от поцелуев. Не знаю, что меня так тревожило; это сон, все твердил я себе, но сердце у меня сжималось. Я решил во что бы то ни стало встать, но был готов к тому, что мне это не удастся — во сне очень часто тело не слушается нас, оно словно чужое или его вообще не чувствуешь. Я рассчитывал, что, пытаясь встать, проснусь, но вместо этого сел, спустив ноги на пол. Ничего не поделаешь, придется досмотреть сон до конца, подумал я, но настроение окончательно испортилось. Мне стало страшно.

— Что тебе нужно? — спросил я хрипло и откашлялся.

Машинально я поискал босыми ногами тапочки и, прежде чем вспомнил, что здесь их нет, так ушиб палец, что даже охнул от боли. Ну теперь-то проснусь, подумал я удовлетворенно.

Но ничего не изменилось. Хэри отодвинулась, когда я сел. Она прислонилась к спинке койки.

Видно было, как у нее бьется сердце: платье чуть вздрагивало на груди. Она рассматривала меня со спокойным любопытством. Хорошо бы принять душ, но разве душ, который снится, может разбудить?

— Как ты сюда попала? — спросил я.

Она подняла мою руку и начала играть ею, знакомым движением подбрасывая и ловя мои пальцы.

— Не знаю, — сказала она. — А ты не рад?

Голос был такой же низкий, и говорила она так же рассеянно, как всегда, словно ее заботили не произнесенные слова, а что-то совсем другое; поэтому иногда казалось, что Хэри ни о чем не думает, а иногда — что она ничего не стыдится. Ко всему она присматривалась с еле заметным удивлением, которое светилось в ее глазах.

— Тебя... кто-нибудь видел?

— Не знаю, я просто пришла... какое это имеет значение, Крис?

Продолжая машинально играть моей рукой, она нахмурилась.

— Хэри?

— Что, милый?

— Откуда ты узнала, где я?

Хэри беспомощно развела руками, улыбнулась.

У нее были такие темные губы, что, когда она ела вишни, на них не оставалось следов от ягод.

— Понятия не имею... Странно, правда? Ты спал, когда я вошла, но я тебя не разбудила. Я не хотела тебя будить, ты злюка. Злюка и зануда.

В такт своим словам она энергично подбрасывала мою ладонь.

— Ты была внизу?

— Ага. Я убежала оттуда. Там холодно.

Она выпустила мою руку. Ложась на бок, встряхнула головой, отбрасывая волосы, посмотрела на меня с той едва заметной усмешкой, которую я терпеть не мог, пока не полюбил Хэри.

— Но ведь... Хэри... — бормотал я. Наклонившись над ней, я поднял короткий рукав ее платья. Над похожей на цветок отметиной от прививки оспы краснел маленький след укола. Правда, я этого и ожидал (я все невольно искал хоть какую-то логику), но мне стало нехорошо. Я тронул пальцем ранку от укола — она мне снилась долгие годы. Как часто я со стоном просыпался на измятой постели, всегда в одном и том же положении, сжавшись в комок (так она лежала, когда я нашел ее уже застывшей), словно старался вымолить у ее памяти прощение или хоть быть рядом с ней в последние минуты, когда она, почувствовав дей-

ствие укола, испугалась. Ведь она боялась даже простой царапины, не выносила ни боли, ни вида крови, а тут на такое решилась. И оставила мне пять слов на листочке. Записка лежала у меня в бумажнике, я всегда носил ее с собой, измятую, потертую на сгибах; у меня не хватало смелости расстаться с ней. Тысячу раз я возвращался к той минуте, когда Хэри писала ее, и пытался представить себе, что она тогда чувствовала. Я убеждал себя, что она хотела просто пошутить и напугать меня, а доза оказалась — случайно — слишком большой. Все твердили мне, что так и было или что она сделала это под влиянием минутной слабости, внезапной депрессии. Ведь никто не знал, что сказал я ей за пять дней до этого. Я даже забрал свои вещи, чтобы ей было еще больнее. А она, когда я укладывался, проговорила слишком спокойно: «Ты понимаешь, что это значит?..» — и я сделал вид, будто не понимаю, хотя прекрасно понимал. Но я считал ее трусихой и сказал ей об этом.

Сейчас она лежала поперек койки и внимательно смотрела на меня, словно не знала, что я убил ее.

— И это все? — спросила она.

Комната была красной от солнца. Волосы Хэри

пламенели. Она посмотрела на свою руку, пытаясь понять, почему я так долго ее разглядываю, потом прижалась прохладной гладкой щекой к моей ладони.

— Хэри, — хрипло сказал я, — не может быть...

— Перестань!

Глаза у нее были закрыты, веки вздрагивали, черные ресницы касались щек.

— Где мы, Хэри?

— У нас.

— А где это?

Она приоткрыла один глаз и тут же закрыла, пощекотала ресницами мою ладонь.

— Крис!

— Что?

— Мне так хорошо.

Склонившись над ней, я сидел неподвижно. Подняв голову, я увидел в зеркале над умывальником часть койки, рассыпанные волосы Хэри и свои голые колени. Ступней я придвинул полуобгоревший инструмент, один из тех, что валялись на полу, поднял его, приложил острым концом к ноге, там, где розовел полукруглый симметричный шрам, и воткнул в тело. Я почувствовал резкую боль, крупные капли крови потекли по ноге, беззвучно падая на пол.

Все напрасно. Ужасные мысли, бродившие у меня в голове, становились все отчетливее, я больше не твердил «это сон», я давно перестал в него верить, теперь я думал «надо защищаться». Я поглядел на спину Хэри, на линию бедра, на босые ноги, свешивающиеся с койки. Протянув руку, я осторожно взял ее розовую пятку и провел пальцем по подошве. Она была нежной, как у новорожденного. Теперь я был совершенно убежден: это не Хэри. И почти уверен: она сама об этом не знает.

Ее ступня дернулась в моей ладони, темные губы Хэри дрожали от беззвучного смеха.

— Перестань... — прошептала она.

Я ласково освободил руку из-под ее щеки, встал и начал поспешно одеваться. Хэри сидела на койке и разглядывала меня.

— Где твои вещи? — спросил я и тут же пожалел об этом.

— Мои вещи?

— У тебя только одно платье?

Теперь уже я вел игру: стремился держаться буднично, свободно, будто мы расстались вчера, нет, будто мы вообще никогда не разлучались. Хэри встала и знакомым легким и сильным движением расправила юбку. Мои слова заин-

триговали Хэри, но она промолчала. Только сейчас она внимательно все оглядела и, явно удивленная, повернулась ко мне.

— Не знаю, — проговорила она беспомощно, — может быть, в шкафу?.. — добавила она и открыла дверцу шкафа.

— Нет, там только комбинезоны.

Я нашел возле умывальника электробритву и стал бриться. Лицом к Хэри. Я не хотел становиться спиной к ней, кем бы она ни была. Хэри ходила по кабине, заглядывая во все углы, в иллюминатор, наконец, подошла ко мне и проговорила:

— Крис, у меня такое чувство, будто что-то случилось...

Она замолчала. Выключив бритву, я ждал.

— Словно я что-то забыла... словно многое забыла... Знаю... помню только тебя и... и больше ничего.

Я слушал ее, стараясь ничем не выдать себя.

— Я была... больна?

— Ну... можно и так сказать. Да, какое-то время ты болела.

— А, вот в чем дело...

Хэри сразу успокоилась. Я не могу передать свое состояние: когда она молчала, ходила, садилась, улыбалась, уверенность, что передо мной Хэри,

становилась сильнее, чем гнетущая тревога. Потом мне опять начинало казаться, что это не Хэри, а только ее упрощенный образ, сведенный к нескольким характерным словам, жестам, движениям. Она подошла ко мне почти вплотную, уперлась кулачками мне в грудь и спросила:

— Как у нас с тобой? Хорошо или плохо?

— Прекрасно, — ответил я. Она чуть заметно усмехнулась.

— Раз ты так говоришь, значит плохо.

— Да что ты, Хэри! Знаешь, дорогая, мне надо сейчас уйти, — быстро проговорил я. — Подожди меня, хорошо? А может... ты голодна? — добавил я и сам вдруг захотел есть.

— Голодна? Нет. — Она покачала головой, волосы ее рассыпались по плечам. — Мне ждать тебя? Долго?

— Часок... — начал я.

— Я пойду с тобой, — перебила Хэри.

— Тебе нельзя идти со мной, мне надо работать.

— Я пойду с тобой.

Это была совершенно другая Хэри: та в таких случаях никогда не настаивала. Никогда.

— Маленькая моя, это невозможно...

Она посмотрела на меня снизу, потом взяла за

руку. Я провел ладонью по ее руке, плечо было упругое и теплое. Совсем не желая этого, я почти ласкал ее. Все мое существо тянулось к ней, желало ее, я жаждал ее вопреки рассудку, вопреки всем аргументам, вопреки страху.

Стараясь изо всех сил сохранить спокойствие, я повторил:

— Хэри, это невозможно, ты должна остаться.

— Нет!

Как это прозвучало!

— Почему?

— Н-не знаю.

Она огляделась вокруг и снова посмотрела на меня.

— Я не могу... — произнесла она совсем тихо.

— Почему?!

— Не знаю. Не могу. Мне кажется... Мне кажется...

Она с трудом искала ответа, а когда его нашла, он для нее самой прозвучал неожиданно:

— Мне кажется, что я должна всегда тебя... видеть. Спокойная интонация скрывала не чувства, а что-то совсем иное. Я ощутил это. Внешне все оставалось по-прежнему: я обнимал ее, глядя в глаза, но начал заламывать ей руки назад; нерешительное движение стало уверенным. Я уже

искал взглядом, чем можно было бы связать ее.

Ее локти ударились за спиной друг о друга и одновременно напряглись с такой силой, которая свела на нет все мои старания. Я боролся, может быть, секунду. Она стояла, прогнувшись назад, едва касаясь пола. В таком положении даже атлет не смог бы сопротивляться. А она, неуверенно улыбаясь, высвободилась из моих объятий, выпрямилась и опустила руки. Причем лицо ее даже не дрогнуло.

Глаза Хэри следили за мной так же спокойно, с любопытством, как и вначале, когда я проснулся. Она, вероятно, даже не заметила моего отчаянного усилия, вызванного приступом страха. Теперь она стояла равнодушная, сосредоточенная, немного удивленная, безучастно ожидая чего-то.

Руки у меня упали. Я оставил ее посередине комнаты и подошел к полке около умывальника. Чувствуя, что попал в немыслимую западню, я искал выхода, готовый на все. Если бы кто-нибудь спросил, что со мной случилось и что все это значит, я не смог бы выдавить из себя ни слова, но мне понемногу становилось ясно, что происходящее на Станции со всеми нами представляет собой одно неразрывное целое, столь же страшное, сколь и непонятное. Однако в тот миг

меня занимало другое — я пытался найти хоть какой-то ход, какую-то лазейку для спасения. Я все время чувствовал на себе взгляд Хэри.

Над полкой в стене была маленькая аптечка. Я быстро осмотрел ее содержимое, нашел баночку со снотворным и бросил четыре таблетки — максимальную дозу — в стакан. Я даже не скрывал своих манипуляций от Хэри, трудно сказать почему, я не задумывался. Налив в стакан горячей воды, я подождал, пока таблетки растворятся, и подошел к Хэри, все еще стоявшей посередине комнаты.

— Ты сердишься? — тихо спросила она.

— Нет, не сержусь. Выпей.

Не знаю, почему я считал, что Хэри послушается. Действительно, она молча взяла у меня стакан и выпила его залпом. Я поставил пустой стакан на столик и сел в углу между шкафом и книжной полкой. Хэри медленно подошла ко мне, уселась на полу возле кресла, как часто делала раньше, поджала ноги под себя и хорошо знакомым движением отбросила волосы назад. Хотя я уже больше не верил, что это Хэри, все-таки каждый раз, когда я узнавал ее привычки, что-то сжимало мне горло. Это было непонятно и страшно, страшнее всего было то, что я и сам

вел себя коварно, делая вид, что принимаю ее за Хэри, но ведь она сама считала себя Хэри, и, по ее понятиям, здесь не было никакой хитрости. Не могу объяснить, как я сообразил, что все именно так, но я был уверен в этом, если вообще могла еще существовать хоть какая-то уверенность!

Я сидел, девушка прислонилась спиной к моим коленям, ее волосы щекотали мою руку. Мы сидели неподвижно. Несколько раз я незаметно посмотрел на часы. Прошло полчаса, снотворное уже должно подействовать. Хэри тихонько пробормотала что-то.

— Что ты сказала? — спросил я.

Она не ответила. Я подумал — она засыпает, хотя, ей-богу, в глубине души сомневался, подействует ли лекарство. Почему? Не знаю. Вероятней всего, потому что такой выход был бы слишком прост.

Ее голова медленно опустилась на мои колени, темные волосы упали на лицо; Хэри дышала размеренно, как спящий человек. Я наклонился, чтобы отнести ее на койку. Не открывая глаз, она слегка дернула меня за волосы и громко засмеялась. Я похолодел, а она заливалась смехом и, прищурившись, следила за мной. Выражение ее лица было наивным и хитрым. Я сидел неесте-

ственно прямо, оглушенный и беспомощный, а Хэри хихикнула еще разок, прижалась щекой к моей руке и замолчала.

— Почему ты смеешься? — глухо спросил я.

Ее лицо опять стало беспокойным, задумчивым. Я видел, что она хочет быть искренней. Хэри приложила палец к носу и сказала со вздохом:

— Сама не знаю. — В ее словах прозвучало неподдельное удивление. — Я веду себя по-идиотски, правда? — продолжала она. — Как-то мне вдруг... но ты тоже хорош... сидишь надутый, как... как Пельвис...

— Как кто? — переспросил я. Мне показалось, что я ослышался.

— Как Пельвис, ты же знаешь, тот толстяк...

Вне всякого сомнения, Хэри не могла ни знать, ни слышать о нем от меня: он вернулся из своей экспедиции по крайней мере года через три после ее смерти. Я тоже не знал его прежде и понятия не имел, что он, председательствуя на собраниях Института, затягивает обычно заседания до бесконечности. Его звали Пелле Виллис, что в сокращении и образовало прозвище, до его возвращения тоже никому не известное.

Хэри облокотилась на мои колени и смотрела мне в лицо. Я провел ладонями по ее рукам,

плечам, шее, ощутил пульсирующие жилки. Это можно было принять за ласку. Судя по ее взгляду, она все так и восприняла. А я просто хотел убедиться, что прикасаюсь к обычному теплому человеческому телу, что под кожей есть мускулы, кости и суставы. Глядя в ее спокойные глаза, я почувствовал непреодолимое желание изо всех сил сдавить ей горло.

Мои пальцы почти сомкнулись, но тут я вспомнил окровавленные руки Снаута и отпустил Хэри.

— Как ты странно смотришь, — спокойно произнесла она.

Сердце мое так колотилось, что я не мог говорить. Я закрыл на мгновение глаза.

Неожиданно у меня возник план. Весь, от начала до конца, со всеми подробностями. Не теряя ни секунды, я встал с кресла.

— Я должен идти, Хэри, но, если ты очень хочешь, можешь пойти со мной.

— Хорошо.

Она вскочила.

— Почему ты босиком? — спросил я, подходя к шкафу и выбирая среди разноцветных комбинезонов два — для себя и для нее.

— Не знаю... Вероятно, куда-то зашвырнула

туфли... — сказала она неуверенно.

Я не обратил на это внимания.

— Сними платье, иначе ты не сможешь надеть комбинезон.

— Комбинезон?.. А зачем? — спросила она, начиная сразу раздеваться.

Но тут выяснилась странная вещь — платье нельзя было снять — оно оказалось без застежки. Красные пуговицы посередине — только украшение. Нет ни молнии, ни какой-либо другой застежки. Хэри смущенно улыбалась. Притворяясь, что это самое обыкновенное дело, я поднял с пола инструмент, похожий на скальпель, надрезал им платье, там, где на спине начинался вырез. Теперь она могла снять платье через голову. Комбинезон был ей немного велик.

— Мы полетим?.. Вместе? — допытывалась она, когда мы, уже одетые, выходили из комнаты.

Я кивнул. Я очень боялся, что мы встретим Снаута, но коридор, ведущий к взлетной площадке, был пуст, а двери радиостанции, мимо которых мы прошли, закрыты.

На Станции по-прежнему царила мертвая тишина. Хэри следила за тем, как я на небольшой электрической тележке вывозил из среднего бокса на свободный путь ракету. Я методично

проверил состояние микрореактора, телеуправление двигателя, после чего вместе со стартовой тележкой перекатил ракету на круглую роликовую плоскость пускового стола под центром воронкообразного купола, убрав сперва оттуда пустую капсулу.

Это была небольшая ракета для связи Станции с Сателлоидом; она служила для перевозки грузов, люди в ней летали в исключительных случаях — ракета не открывалась изнутри. Мне нужна была именно такая ракета. Конечно, я не собирался запускать ее, но делал все, как перед настоящим стартом. Хэри не раз сопровождала меня в полетах и немного разбиралась в подготовке к старту. Я проверил также состояние кондиционеров и кислородной аппаратуры, привел их в действие, а когда зажглись контрольные лампочки, я вылез из тесного отсека и обратился к Хэри, стоявшей у трапа:

— Входи.

— А ты?

— Я войду за тобой. Мне надо закрыть люк.

Я не боялся, что она разгадает мою хитрость. Когда она поднялась по трапу в отсек, я тут же просунул голову в люк и спросил, удобно ли ей; услышав глухо прозвучавшее в тесном отсеке

«да», попятился и со всего размаха захлопнул крышку. Я до упора задвинул обе задвижки и заранее приготовленным ключом стал затягивать пять болтов, крепящих в пазах крышку люка.

Металлическая сигара стояла вертикально, готовая вот-вот взлететь. Я знал: той, которую я запер, ничто не грозит — в ракете достаточно кислорода, есть даже немного пищи; впрочем, я совсем не собирался держать ее там до бесконечности.

Я стремился любой ценой получить хотя бы несколько часов свободы, чтобы все обдумать, связаться со Снаутом и поговорить с ним теперь уже на равных. Затягивая предпоследний болт, я почувствовал, что металлические крепления, на которых держится ракета, установленная только на выступах с трех сторон, слегка дрожат, но решил, что я сам, неосторожно действуя большим ключом, случайно расшатал стальную глыбу. Отойдя на несколько шагов, я увидел то, чего не хотел бы видеть больше никогда в жизни.

Ракета раскачивалась от серии идущих изнутри ударов. Каких ударов! Будь там вместо черноволосой стройной девушки стальной робот, и он бы не смог так сотрясать восьмитонную ракету.

На полированной поверхности снаряда дрожа-

ли и переливались отблески огней космодрома. Я не слышал никаких звуков — внутри было тихо, только широко расставленные опоры пускового стола, на которых стояла ракета, потеряли четкость очертаний. Они вибрировали, как струны, — я даже испугался, как бы все не развалилось. Трясущимися руками я затянул последний болт, бросил ключ и соскочил с трапа. Медленно пятясь, я увидел, как амортизаторы, рассчитанные только на постоянное давление, подпрыгивают в своих гнездах. Мне показалось, что стальная обшивка меняет свой цвет. Как сумасшедший, подскочил я к пульту дистанционного управления, обеими руками рванул рубильник пуска реактора и включения связи; из репродуктора раздался не то визг, не то свист, совершенно не похожий на человеческий голос, и все же я разобрал: «Крис! Крис! Крис!!!»

Кровь лилась из разбитых пальцев — так суматошно и поспешно я старался привести в движение снаряд. Голубоватый отблеск упал на стены от пускового стола; через газоотражатель повалили клубы дыма, которые превратились в сноп ослепительных искр; все звуки перекрыл высокий, протяжный гул. Ракета поднялась на трех языках пламени, тут же слившихся в один

огненный столб, и, оставляя за собой дрожащее марево, вылетела сквозь шлюзовое отверстие. Оно сразу же закрылось. Автоматические вентиляторы стали подавать свежий воздух в зал, где еще клубился едкий дым.

Я ни на что не обращал внимания. Руками я держался за пульт, лицо пылало от ожога, волосы обгорели от теплового излучения; я судорожно хватал воздух, пахнувший гарью и озоном. Хотя во время старта я инстинктивно закрыл глаза, реактивная струя ослепила меня. Довольно долго перед глазами стояли черные, красные и золотые круги. Постепенно они растаяли. Дым, пыль, туман исчезали в протяжно стонущих трубах вентилятора. Прежде всего, я увидел зеленоватый экран радара. Я стал искать ракету радиолокатором. Когда я, наконец, поймал ее, она была уже за пределами атмосферы. Никогда в жизни я не запускал снаряд так поспешно, вслепую, не имея понятия, какое придать ему ускорение, куда вообще его направить. Я подумал, что проще всего вывести ракету на орбиту вокруг Солярис с радиусом примерно тысяча километров. Тогда я смог бы выключить двигатели. Если они будут работать, может произойти катастрофа, результаты которой трудно себе представить. Тысячекило-

метровая орбита — как я убедился по таблице — была стационарной. Но и она, честно говоря, ничего не гарантировала. Просто я не смог придумать ничего другого. У меня не хватило смелости включить радиосвязь, которую я выключил сразу после старта. Я сделал бы все, что угодно, лишь бы не слышать больше этого ужасного голоса, в котором уже не осталось ничего человеческого. Все маски были сорваны — в этом можно уже признаться, — и под личиной Хэри открылось подлинное лицо, такое, что безумие стало действительно казаться избавлением.

Был ровно час, когда я покинул космодром.

«Малый апокриф»

У меня были обожжены лицо и руки. Я вспомнил, что, когда искал снотворное для Хэри (если бы я мог, то посмеялся бы теперь над своей наивностью), заметил в аптечке баночку мази от ожогов, и пошел к себе. Открыв дверь, я увидел при багровом свете заката, что в кресле, перед которым недавно Хэри стояла на коленях, кто-то сидит. На какую-то долю секунды меня охватил страх, в панике я отскочил, готовый броситься бежать. Сидевший поднял голову. Это был Снаут. Положив ногу на ногу, спиной ко мне (на нем были те же полотняные брюки с пятнами от реактивов), он просматривал какие-то бумаги. Они лежали рядом на столике. Увидев меня, он отложил бумаги и принялся мрачно разглядывать меня поверх спущенных на кончик носа очков.

Не говоря ни слова, я подошел к умывальнику, вынул из аптечки мазь и стал накладывать ее на лоб и щеки — там, где были самые сильные ожоги. К счастью, я успел зажмуриться, и глаза остались целы. Несколько больших волдырей на висках и щеках я проткнул стерильной иглой и

шприцем вытянул из них жидкость. Потом я налепил на лицо две пропитанные мазью марлевые салфетки. Снаут продолжал наблюдать за мной. Мне было все равно. Лицо мое горело все сильнее. Я закончил свои процедуры, сел в другое кресло, сняв с него платье Хэри. Самое обыкновенное платье, только без застежки.

Снаут, сложив руки на костлявом колене, критически следил за моими движениями.

— Ну что, побеседуем? — произнес он, когда я сел. Я не ответил, прижимая марлю, сползавшую со щеки.

— Принимали гостей, да?

— Да, — ответил я сухо.

У меня не было ни малейшего желания подстраиваться под его тон.

— И избавились от них? Ну, ну, горячо ты за это взялся.

Снаут потрогал шелушившуюся кожу на лбу, сквозь нее просвечивала молодая, розовая кожица. Меня осенило. Почему я решил, что это загар? Ведь на Солярис никто не загорает...

— Начал-то ты с малого? — продолжал Снаут, не замечая моего волнения. — Всевозможные наркотики, яды, американская борьба, не так ли?

— В чем дело? Поговорим серьезно. Не валяй

дурака. Или уходи.

— Иногда волей-неволей приходится валять дурака, — сказал он, прищурившись. — Ты же не станешь уверять, что не воспользовался ни веревкой, ни молотком? А чернильницу ты случайно не швырял, как Лютер? Нет? О, — поморщился он, — да ты просто молодец! И умывальник цел, ты даже не пытался размозжить голову, даже не пытался, и в комнате ничего не расколотил. Ты прямо — раз, два, и готово — посадил, запустил на орбиту, и конец?!

Снаут посмотрел на часы.

— Значит, часа два, а может, три у нас есть, — договорил он, неприятно усмехаясь. Потом снова начал: — Так, по-твоему, я свинья?

— Настоящая свинья, — сказал я твердо.

— Да? А ты поверил бы, расскажи я тебе такое? Поверил бы хоть одному слову?

Я не ответил.

— Сначала это произошло с Гибаряном, — продолжал Снаут с той же неприятной усмешкой. — Он заперся в своей кабине и разговаривал с нами только через дверь. Ты знаешь, что мы решили?

Я знал, но предпочел промолчать.

— Ну конечно. Мы полагали, что он сошел с

ума. Он рассказал нам кое-что через дверь, но не все. Ты, может, даже догадываешься, почему он скрывал, кто у него. Ну да. Ты уже знаешь: suum quique[3]. Но Гибарян был настоящим исследователем. Он потребовал дать ему возможность...

— Какую?

— Он пытался, по-моему, как-то все классифицировать, разобраться, понять, работал ночами. Знаешь, что он делал? Конечно, знаешь!

— Расчеты. В ящике. На радиостанции. Это его?

— Да. Но тогда я еще ни о чем понятия не имел.

— Сколько это продолжалось?

— Визит? С неделю. Разговоры через дверь. Что там творилось! Мы думали, у него галлюцинации, психомоторное возбуждение. Я давал ему скополамин.

— Как... ему?!

— Да. Он брал, но не для себя. Экспериментировал. Так это и тянулось.

— А вы?..

— Мы? На третий день мы решили проникнуть к нему, выломать дверь, если не выйдет иначе. Думали, его нужно лечить.

— Так вот почему!.. — вырвалось у меня.

---

[3] notes: 3
Каждому свое (лат.).

— Да.

— И там... в том шкафу...

— Да, мой дорогой. Да. Он не знал, что тем временем и нас посетили гости. И мы уже не могли уделять ему внимание. Он не знал об этом. Теперь к таким историям мы... привыкли.

Снаут говорил так тихо, что я скорее угадал, чем расслышал последние слова.

— Подожди... Я не понимаю. Как же так, ведь вы должны были слышать. Ты сам говорил, что вы подслушивали. Вы должны были слышать два голоса, а следовательно...

— Нет. Слышали только его голос, а если раздавался какой-то странный шум, то, ты понимаешь, мы думали, что это он...

— Только его голос?.. Но... Почему?

— Не знаю. У меня, правда, есть на этот счет своя теория. Но я полагаю, не стоит торопиться. Она хотя кое-что разъясняет, но выхода не указывает. Да. Ты еще вчера, вероятно, что-то заметил, иначе принял бы нас обоих за сумасшедших.

— Я думал, что сам сошел с ума.

— Да? Ах, так? И ты никого не видел?

— Видел.

— Кого?!

Его лицо исказила гримаса. Он уже не усме-

хался. Я внимательно разглядывал его, потом ответил:

— Эту... чернокожую...

Снаут молчал. Но его напряженные, сутулые плечи немного расслабились.

— Ты мог меня хотя бы предостеречь, — продолжал я уже не так убежденно.

— Я тебя предостерег.

— Но как?

— Как мог. Пойми, я не знал, *кто* это будет! Никогда не известно, *это* нельзя предвидеть...

— Послушай, Снаут, у меня несколько вопросов. Ты сталкивался с такими вещами... Эта... это... что с ней будет?

— Ты хочешь спросить, вернется ли она?

— Да.

— Вернется и не вернется.

— То есть?..

— Вернется такой же, как была вначале... При первом посещении. Просто она ничего не будет знать, или, если быть точным, станет вести себя так, будто ты никогда не делал ничего, чтобы от нее избавиться. Она не будет агрессивной, если ты ее не поставишь в такое положение...

— Какое положение?

— Это зависит от обстоятельств.

— Снаут!

— Что?

— Мы не можем позволить себе роскошь что-либо скрывать друг от друга.

— Это не роскошь, — прервал он меня сухо. — Кельвин, мне кажется, что ты все еще не понимаешь... Подожди-ка! — У него заблестели глаза. — Ты можешь мне сказать, *кто* у тебя был?

Я проглотил слюну, опустил голову. Мне не хотелось смотреть на него. Я предпочел бы, чтобы это был кто угодно, только не он. Но выбора не оставалось. Кусочек марли отклеился и упал мне на руку. Я вздрогнул от скользкого прикосновения.

— Женщина, которую... — Я не договорил. — Она погибла. Сделала себе... укол...

Снаут ждал.

— Покончила с собой?.. — уточнил он, видя, что я не договариваю.

— Да.

— И все?

Я замялся.

— Вероятно, не все...

Я вскинул голову. Снаут не смотрел на меня.

— Откуда ты знаешь?

Он не ответил.

— Ладно, — начал я, облизнув губы, — мы поссорились. Впрочем, нет. Это я ей сказал... сам знаешь, что говорят со злости. Собрал свои вещички и ушел. Она дала мне понять, прямо не сказала, но ведь, когда с человеком долго живешь, незачем и говорить... Я был уверен, что она просто так... что она побоится... так ей все и выложил. На следующий день я вспомнил, что оставил в ящике шкафа этот... препарат; она знала о нем — я принес его из лаборатории, он был мне нужен; я объяснил ей тогда, как он действует. Я испугался, хотел пойти за ним, но потом подумал, что это будет выглядеть, словно я принял ее слова всерьез, и... не пошел. На третий день я все-таки отправился... это не давало мне покоя... Она... когда я пришел, ее уже не было в живых.

— Ах ты, невинное дитя.

От его слов меня взорвало. Но, взглянув на Снаута, я понял, что он не шутит. Я словно впервые увидел его. На сером лице в глубоких морщинах застыла непередаваемая усталость, он выглядел как тяжелобольной.

— Почему ты так говоришь? — спросил я в замешательстве.

— Потому, что история эта трагична. Нет, нет, — быстро добавил он, заметив, что я хочу его пре-

рвать, — ты по-прежнему ничего не понимаешь. Конечно, ты можешь мучиться, даже считать себя убийцей, но... это не самое страшное.

— Да что ты! — язвительно воскликнул я.

— Ей-богу, я рад, что ты мне не веришь. То, что произошло, может быть страшным, но страшнее всего то, что... не происходило... Никогда.

— Не понимаю... — неуверенно произнес я. Действительно, я ничего не понимал. Снаут покачал головой.

— Нормальный человек... — продолжал он. — Что такое нормальный человек? Человек, который не совершил ничего ужасного? И даже не подумал ни о чем подобном? А что, если он не подумал, а у него только мелькнуло в подсознании десять или тридцать лет назад? Может, он забыл, не боялся, так как знал, что никогда не сделает ничего плохого. Теперь представь себе, что вдруг, средь бела дня, при других людях, встречаешь *это* во плоти, прикованное к тебе, неистребимое. Что это?

Я молчал.

— Станция, — произнес он тихо. — Станция Солярис.

— Но... что это, в конце концов? — спросил я нерешительно. — Ведь вы с Сарториусом не пре-

ступники...

— Ты же психолог, Кельвин! — нетерпеливо прервал он меня. — Кому хоть раз в жизни не снился такой сон, не являлось такое видение? Возьмем... фетишиста, который влюбился, скажем, в клочок грязного белья. Рискуя жизнью, угрозами и просьбами, он ухитряется раздобыть свой драгоценный, отвратительный лоскут. Забавно, да? Он и брезгует предметом своей страсти, и сходит по нему с ума. И ради него готов пожертвовать своей жизнью, как Ромео ради Джульетты. Такое случается. Но ты, вероятно, понимаешь, что бывают и такие вещи... такие ситуации... которые никто не отважится представить себе наяву, о которых можно только подумать, и то в минуту опьянения, падения, безумия — называй, как хочешь. И слово становится плотью. Вот и все.

— Вот... и все, — бессмысленно повторил я. У меня шумело в голове. — А Станция? При чем здесь Станция?

— Что ты притворяешься, — огрызнулся Снаут, уставившись на меня. — Ведь я все время говорю о Солярис, только о Солярис, ни о чем другом. Я не виноват, что все так резко отличается от твоих ожиданий. Впрочем, ты достаточно пережил, чтобы по крайней мере выслушать меня до кон-

ца. Мы отправляемся в космос, готовые ко всему, то есть к одиночеству, к борьбе, к страданиям и смерти. Из скромности мы вслух не говорим, но порою думаем о своем величии. А на самом деле — на самом деле это не все, и наша готовность — только поза. Мы совсем не хотим завоевывать космос, мы просто хотим расширить Землю до его пределов. На одних планетах должны быть пустыни вроде Сахары, на других — льды, как на полюсе, или джунгли, как в бразильских тропиках. Мы гуманны и благородны, не стремимся завоевывать другие расы, мы стремимся только передать им наши достижения и получить взамен их наследие. Мы считаем себя рыцарями Святого Контакта. Это вторая ложь. Мы не ищем никого, кроме человека. Нам не нужны другие миры. Нам нужно наше отражение. Мы не знаем, что делать с другими мирами. С нас довольно и одного, мы и так в нем задыхаемся. Мы хотим найти свой собственный, идеализированный образ: планеты с цивилизациями, более совершенными, чем наша, или миры нашего примитивного прошлого. Между тем по ту сторону есть нечто, чего мы не приемлем, перед чем защищаемся, а ведь с Земли привезли не только чистую добродетель, не только идеал героического Человека!

Мы прилетели сюда такими, каковы мы есть на самом деле; а когда другая сторона показывает нам нашу реальную сущность, ту часть правды о нас, которую мы скрываем, мы никак не можем с этим смириться!

— Так что же это? — спросил я, терпеливо выслушав его.

— То, чего мы хотели, — Контакт с иной цивилизацией. Вот он, этот Контакт! Увеличенное, как под микроскопом, наше собственное чудовищное безобразие, наше фиглярство и позор!!!

Голос Снаута дрожал от ярости.

— Итак, ты полагаешь, что это... Океан? Что это он? Но зачем? Сейчас меньше всего меня волнует механизм действия, но, помилуй Бог, зачем? Ты что, серьезно думаешь, что он играет с нами?! Или карает нас?! Да это прямо чернокнижие! Планета, покоренная каким-то дьяволом-великаном, который из сатанинского чувства юмора подбрасывает членам научной экспедиции адские твари! Законченный идиотизм! Ты, вероятно, сам в него не веришь?!

— Этот дьявол не так уж глуп, — процедил Снаут сквозь зубы.

Я удивленно посмотрел на него. В конце концов у него могли сдать нервы, подумал я, даже если

происходящее на Станции нельзя объяснить безумием. Реактивный психоз?.. — промелькнуло у меня в голове. Снаут беззвучно засмеялся.

— Опять ставишь диагноз? Не спеши. В сущности, ты столкнулся с этим в такой легкой форме, что все еще ничего не понимаешь!

— Ага! Дьявол смилостивился надо мной!

Разговор начал раздражать меня.

— Чего ты, собственно, хочешь? Чтобы я тебе сказал, что замышляют против нас икс миллиардов кубометров метаморфической плазмы? Возможно, ничего.

— Ничего? — с недоумением переспросил я. Снаут по-прежнему усмехался.

— Ты же знаешь: наука занимается только тем, как происходит что-то, а не тем, почему происходит. Как? Все началось через восемь или девять дней после эксперимента с жестким облучением. Может, Океан ответил на наше облучение каким-то своим, может, прощупал лучами наш мозг и извлек из него определенные психические процессы, так сказать инкапсулированные.

— Инкапсулированные?

Это меня заинтересовало.

— Ну да, процессы, оторванные от всего остального, замкнутые в себе, подавленные, замуро-

ванные, какие-то воспалительные очаги памяти. Он принял их за проект... за рецепт... Ведь ты знаешь, как сходны между собой асимметричные кристаллы хромосом и тех нуклеиновых соединений цереброзидов, которые составляют основу процессов запоминания... Наследственная плазма — плазма «запоминающая». Итак, он извлек это из нас, зарегистрировал, а потом — сам знаешь, что было потом. Но почему он это сделал? Ха! Во всяком случае, не для того, чтобы нас уничтожить. Уничтожить нас можно гораздо проще. Вообще — при его возможностях — он мог сделать все что угодно, например заменить нас двойниками.

— А! — воскликнул я. — Вот почему ты так испугался меня в первый вечер.

— Да. Впрочем, — добавил Снаут, — может, он так и сделал. Откуда ты знаешь, что я действительно тот старый, славный Мышонок, который прилетел сюда два года назад...

Снаут хихикнул, словно наслаждаясь моей растерянностью, но тут же стал серьезным.

— Нет, нет, — проворчал он, — и так всего слишком много... Вероятно, различий гораздо больше, но я знаю одно: и меня, и тебя можно убить.

— А их нельзя?

— И не пытайся! Не советую! Страшная картина!

— Ничем?

— Не знаю. Во всяком случае, их нельзя ни отравить, ни прирезать, ни задушить...

— А если атомным лучеметом?

— Ты смог бы?

— Не знаю. Если считать, что они не люди...

— В каком-то смысле они люди. Субъективно они люди. Они не отдают себе отчета... в своем... происхождении. Ты, вероятно, заметил?

— Да. Так... как же это... выглядит?

— Они регенерируют в невероятном темпе. В немыслимом темпе, прямо на глазах, поверь мне, и снова начинают вести себя, как... как...

— Как?

— Как их образы, живущие в нашей памяти, на основе которой...

— Да. Это правда, — подтвердил я.

Мазь таяла на моих обожженных щеках и капала на руки. Я не обращал на это внимания.

— А Гибарян... знал? — неожиданно спросил я. Снаут задумался.

— Знал ли он то же, что и мы?

— Да.

— Я почти уверен.

— С чего ты взял? Он говорил тебе?

— Нет. Но я нашел у него одну книгу...

— «Малый Апокриф»?! — закричал я, вскакивая с места.

— Да. А ты откуда знаешь? — спросил Снаут, неожиданно забеспокоившись, и уставился на меня.

Я покачал головой.

— Не волнуйся. Ты же видишь, что я обожжен и совсем не регенерирую, — успокоил я его. — Знаешь, он оставил мне письмо.

— Правда? Письмо? Что там написано?

— Немного. Это скорее записка, а не письмо. Библиографическая справка к «Соляристическому приложению» и к этому «Апокрифу». Что это такое?

— Старая история. Может, она нам что-нибудь даст. Держи.

Снаут достал из кармана тоненькую книгу в кожаном переплете, потертом на углах, и протянул мне.

— А Сарториус?.. — спросил я, пряча книгу.

— Что Сарториус? Каждый ведет себя в такой ситуации, как... умеет. Он старается держаться нормально, для него это значит — официально.

— Ну, знаешь ли!

— Тем не менее. Я однажды попал с ним в переплет, подробности не так уж важны, достаточно сказать, что у нас осталось на восемь человек пятьсот килограммов кислорода. Один за другим мы бросали обычные занятия, в конце концов мы все ходили небритые, только он брился, чистил ботинки. Такой уж он человек. Конечно, что бы Сарториус теперь ни сделал, все будет или притворством, или комедией, или преступлением.

— Преступлением?

— Ну, скажем, не преступлением. Можно придумать какое-нибудь новое слово. Например, «реактивный развод». Нравится?

— Ты весьма остроумен.

— А ты хотел бы, чтобы я плакал? Предложи сам что-нибудь.

— Ах, отстань!

— Ладно, я говорю серьезно. Ты теперь знаешь приблизительно столько же, сколько и я. У тебя есть какой-нибудь план?

— Какой там план! Я не представляю, что буду делать, когда... снова явится... Должна явиться?

— Скорее всего, должна.

— Как же они проникают на Станцию, ведь Станция закрыта герметично. Может, обшивка...

Снаут покачал головой.

— Дело не в обшивке. Не имею понятия. *Гость* чаще всего появляется, когда просыпаешься, а ведь надо же время от времени спать.

— А если запереться?

— Помогает ненадолго. Есть другие способы... сам знаешь какие.

Снаут встал, я тоже поднялся.

— Послушай-ка, Снаут... Ты хотел бы ликвидировать Станцию, но предпочитаешь, чтобы такое предложение исходило от меня?

Снаут задумался.

— Все гораздо сложнее. Конечно, мы всегда можем убежать, хотя бы на Сателлоид, и оттуда подать сигнал бедствия. Нас сочтут, само собой разумеется, безумцами — какой-нибудь санаторий на Земле, до тех пор пока мы все спокойно не откажемся от своих слов — ведь бывают случаи массового психоза на таких изолированных участках... Это было бы не самое худшее. Сад, тишина, белые комнаты, прогулки с санитарами...

Снаут говорил абсолютно серьезно, держа руки в карманах, уставившись невидящими глазами в угол. Красное солнце уже зашло за горизонт, и пенистые волны Океана переплавились в чернильную пустыню. Небо горело. Над этим двухцветным, невыразимо мрачным пейзажем

плыли облака с лиловыми краями.

— Ты хочешь убежать? Хочешь? Или пока нет?

Снаут усмехнулся.

— Непреклонный завоеватель... ты еще не все отведал, иначе бы так не приставал. Дело не в том, чего я хочу, а в том, какая есть возможность.

— Какая возможность?

— Не знаю.

— Итак, остаемся здесь? Ты думаешь, мы найдем способ...

Снаут взглянул на меня, худощавый, с шелушащимся, морщинистым лицом.

— Кто знает. Может, все окупится, — сказал я наконец. — Пожалуй, об Океане мы не узнаем ничего, но, может быть, о себе...

Снаут повернулся, взял свои бумаги и вышел. Мне хотелось его остановить, я открыл рот, но не произнес ни слова. Делать было нечего, оставалось только ждать. Я смотрел через иллюминатор на кроваво-черный Океан, почти не видя его. Мне пришла в голову мысль — не спрятаться ли в какой-нибудь ракете на космодроме — мысль несерьезная, более того, глупая: все равно рано или поздно мне пришлось бы выйти оттуда. Я сел возле иллюминатора, достал книгу, которую дал мне Снаут. Было еще достаточно светло. Вся

комната горела красным, страницы порозовели. Книга представляла собой составленный неким Отто Равинцером, магистром философии, сборник материалов, сказать по правде, весьма сомнительных. Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука — странное извращение науки в умах определенного толка: астрология — карикатура на астрономию, у химии была когда-то алхимия; понятно, конечно, что зарождение соляристики сопровождалось подлинным взрывом умствования чудаков. В книге Равинцера была именно такая псевдонаучная стряпня, от которой, следует справедливо заметить, сам составитель решительно открещивался в своем предисловии. Он просто считал, не без основания, что такой сборник может служить ценным документом эпохи как для историков, так и для психологов науки.

Рапорт Бертона занимал в книге немаловажное место. Он состоял из нескольких частей. Сначала шли весьма лаконичные записи в бортовом журнале.

С 14.00 до 16.40 по условному времени экспедиции записи были краткими и однообразными.

«Высота 1000 — или 1200 — или 800 метров — Океан пуст».

Запись повторялась несколько раз.

16.40. Поднимается красный туман. Видимость 700 метров. Океан пуст.

17.00. Туман сгущается, штиль, видимость 400 метров, есть просветы. Снижаюсь до 200.

17.20. Нахожусь в тумане. Высота 200. Видимость 20 — 40 метров. Штиль. Поднимаюсь до 400.

17.45. Высота 500. Сплошной туман до самого горизонта. В тумане воронки, сквозь которые смутно видна поверхность Океана. В них что-то происходит. Пытаюсь войти в одну из воронок.

17.52. Вижу подобие водоворота: он выбрасывает желтую пену. Водоворот окружен стеной тумана. Высота 100. Снижаюсь до 20.

На этом кончался бортовой журнал Бертона. Продолжение так называемого рапорта составляли выдержки из истории болезни, а точнее, текст показаний Бертона и вопросы членов комиссии.

«*Бертон*. Когда я снизился до 30 метров, держаться на такой высоте стало

трудно, так как в круглом, свободном от тумана просвете дул порывистый ветер. Мне пришлось внимательно следить за управлением, поэтому я некоторое время — минут десять или пятнадцать — не выглядывал из гондолы. В результате я нечаянно вошел в туман, меня загнал в него сильный порыв ветра. Это был не обычный туман, а что-то вроде коллоидной взвеси: все стекла затянуло. Было очень трудно их очистить. Взвесь очень липкая. Тем временем из-за сопротивления того, что я называю туманом, обороты винта упали процентов на тридцать, и я стал терять высоту. Летя совсем низко и опасаясь капотировать на волну, я дал полный газ. Машина перестала снижаться, но высоты не набирала. У меня оставалось еще четыре патрона ракетных ускорителей. Я не воспользовался ими, полагая, что ситуация может усложниться и они мне еще понадобятся. На полных оборотах возникла очень сильная вибрация; видимо, странная взвесь облепила винт, однако стрелка высотомера по-прежнему стояла на нуле,

и я ничего не мог сделать. Солнца я не видел с той минуты, как вошел в туман, но там, где оно должно было находиться, туман багрово светился. Я описывал круги, надеясь в конце концов выйти в просвет, свободный от тумана, и действительно, примерно через полчаса мне это удалось. Я очутился на чистом участке, имевшем форму почти правильного круга диаметром в несколько сот метров, очерченного туманом. Туман клубился, как при сильных воздушных течениях. Поэтому я старался по мере возможности держаться в центре «дыры»: там было тише. По моим наблюдениям, поверхность Океана изменилась. Волны почти исчезли, а верхний слой жидкости, из которой состоит Океан, стал полупрозрачным, с дымчатыми пятнами. Они постепенно исчезали. Вскоре верхний слой стал совсем прозрачным, и сквозь его толщу, достигавшую нескольких метров, я смог заглянуть в глубину. Там собиралось что-то вроде желтой грязи, тонкими, вертикальными струйками поднимавшейся вверх; всплывая на поверхность, эта субстанция

начинала блестеть, бурлила, пенилась и застывала, напоминая густой, подгоревший сахарный сироп. Это вещество — не то грязь, не то слизь — образовывало утолщения, наросты на поверхности, похожие на цветную капусту, и постепенно принимало самые различные формы. Меня стало сносить в туман, я вынужден был заняться винтом и рулями, а когда, спустя несколько минут, выглянул, то увидел внизу нечто вроде сада. Да, вроде сада. Я видел карликовые деревья, живую изгородь, дорожки — не настоящие, а из того же самого вещества, которое, совсем застыв, напоминало желтоватый гипс. Так это выглядело. Вся поверхность сверкала; я снизился, насколько мог, чтобы тщательно все осмотреть.

Комиссия. Были ли на деревьях и растениях, которые ты видел, листья?

Бертон. Нет. Это было что-то вроде макета. Да, да, все выглядело, как макет. Но, пожалуй, макет в натуральную величину. Потом все полопалось и разломалось, сквозь абсолютно черные трещины на поверхность полезла густая слизь, часть

ее стекала, а часть оставалась и застывала, все забурлило, покрылось пеной, я ничего больше не видел, кроме пены. Тут на меня со всех сторон стал наступать туман, я прибавил обороты и поднялся до 300 метров.

Комиссия. Ты твердо уверен, что виденное тобою напоминало именно сад?

Бертон. Да. Я заметил различные детали: например, в одном углу, помню, стояли в ряд квадратные коробочки. Позже мне пришло в голову: вероятно, это пасека.

Комиссия. Позже? А не в тот момент, когда ты увидел?

Бертон. Нет, ведь все было как из гипса. Я видел и другое.

Комиссия. Что именно?

Бертон. Не могу сказать, я не успел как следует рассмотреть. По-моему, под некоторыми кустами лежали какие-то предметы, продолговатые, с зубьями, они были похожи на гипсовые слепки с маленьких садовых машин. Но в этом я не уверен. А в том, что говорил раньше, не сомневаюсь.

Комиссия. Ты не подумал, что у тебя галлюцинации?

Бертон. Нет. Я думал, что это мираж. О галлюцинации не может быть и речи: во-первых, я чувствовал себя нормально, во-вторых, их у меня вообще никогда не было. Когда я поднялся на высоту 300 метров, туман подо мной, продырявленный воронками, выглядел как сыр. Одни из этих «дыр» были пусты, в них виднелись волны Океана, в других что-то клубилось. Я снизился в одну из воронок и с высоты сорока метров увидел, что под поверхностью Океана — совсем неглубоко — лежит как бы стена очень большого здания; она четко просматривалась сквозь волны, в ней были ряды правильной формы отверстий, похожих на окна; в некоторых окнах, по-моему, что-то двигалось, но в этом я не совсем уверен. Стена стала понемногу подниматься и выступать из Океана, с нее водопадами стекала слизь и свешивались какие-то прожилки. Вдруг стена распалась на две части и стала быстро опускаться в глубину, а потом исчезла. Я опять набрал высоту и летел прямо над

туманом — шасси почти касалось его. Следующий воронкообразный просвет был в несколько раз больше первого. Еще издали я увидел: там плавает что-то светлое, почти белое, очертания напоминали человеческую фигуру. Я подумал — не скафандр ли это Фехнера. Опасаясь потерять это место, я круто развернул машину. Фигура чуть приподнялась: казалось, она плывет или стоит по пояс в волнах. Второпях я слишком резко убрал высоту и почувствовал, как шасси задело за что-то мягкое — наверное, за гребень волны, довольно высокой в этом месте. Человек — да, да, человек — был без скафандра, и все же он шевелился.

Комиссия. Видел ли ты его лицо?

Бертон. Да.

Комиссия. Кто это был?

Бертон. Ребенок.

Комиссия. Какой ребенок? Ты видел его когда-нибудь раньше?

Бертон. Нет. Никогда. Во всяком случае, я этого не помню. Как только я приблизился — сначала меня отделяло от него метров сорок или немногим больше, — я

сразу понял, что здесь что-то не так.

Комиссия. Что ты имеешь в виду?

Бертон. Сейчас объясню. Сперва я растерялся, а потом понял: ребенок был необычайно большого роста. Мало сказать, исполинского. Он был ростом метра в четыре. Точно помню: когда шасси ударилось о волну, лицо ребенка находилось немного выше моего, а я, хоть и сидел в кабине, был, вероятно, метрах в трех от поверхности Океана.

Комиссия. Если он был такой огромный, из чего ты заключил, что это ребенок?

Бертон. Из того, что он был совсем маленький.

Комиссия. Не кажется ли тебе, Бертон, что твой ответ нелогичен?

Бертон. Нет. Не кажется. Я ведь видел его лицо. Да и телосложение было детское. Он показался мне почти... почти грудным. Нет, не то. Ему могло быть два или три года. У него были черные волосы и голубые глаза — громадные! И он был голый, совсем голый, словно только что родился. И мокрый, а точнее, покрытый слизью, кожа у него блестела.

Эта картина ужасно подействовала на меня. Больше я не верил ни в какие миражи. Ведь я рассмотрел ребенка слишком хорошо. Волны раскачивали его, и, кроме того, он сам двигался. Отвратительно!

Комиссия. Почему? Что он делал?

Бертон. Он был похож на музейный экспонат, на какую-то куклу, только живую. Открывал и закрывал глаза, производил различные движения — отвратительные движения! Вот именно, отвратительные. Ведь движения были не его.

Комиссия. Как это понять?

Бертон. Я был от него метрах в пятнадцати, ну, может, в двадцати. Я уже говорил, какой он огромный, поэтому мне было очень хорошо его видно. Глаза его блестели, он казался живым, но вот движения... Словно кто-то испытывал... проводил испытания...

Комиссия. Что ты имеешь в виду? Постарайся объяснить точнее.

Бертон. Не знаю, удастся ли. Так мне казалось. Интуитивно. Я не старался разобраться в своих впечатлениях. Движения были неестественные.

Комиссия. Ты имеешь в виду, что руки, предположим, двигались так, словно в них совсем не было суставов?

Бертон. Нет. Не то. Просто... движения были бессмысленные... Всякое движение обычно целенаправленно...

Комиссия. Ты так думаешь? Движения грудного младенца не всегда целенаправленны.

Бертон. Знаю. Но движения младенца беспорядочны, у него нет координации. А эти... Да, эти движения были методичны. Они следовали друг за другом, повторялись. Будто кто-то пытался установить, что именно ребенок может сделать руками, а что — туловищем и ртом. Но страшнее всего выглядело лицо, вероятно потому, что лицо обычно очень выразительно, а тут оно было как... нет, не могу объяснить. Лицо было живое, но не человеческое, понимаете, черты лица, глаза, кожа — все, как у человека, а выражение, мимика — нет.

Комиссия. Может, ребенок гримасничал? Знаешь ли ты, как выглядит человеческое лицо во время приступа

эпилепсии?

Бертон. Да. Я видел такой приступ. Понимаю вопрос. Нет, здесь было другое. При эпилепсии — судороги и конвульсии, а тут — абсолютно плавные и непрерывные движения, с переливами, если можно так сказать. И лицо... Не бывает так, чтобы одна половина лица была веселой, а другая — грустной, одна часть выражала угрозу или испуг, а другая — торжество или что-нибудь в этом роде, а тут было именно так. Кроме того, и движения, и мимика менялись с необыкновенной быстротой. Я пробыл там очень недолго, секунд десять. Не знаю даже, десять ли.

Комиссия. И ты заявляешь, что все рассмотрел за несколько секунд? Кстати, как ты определил, сколько прошло времени? Ты проверял по часам?

Бертон. Нет. На часы я не смотрел. Но я летаю уже шестнадцать лет. В моей профессии главное — уметь чувствовать время с точностью до секунды, я имею в виду быстроту реакции. Это необходимо при посадке. Пилот, который не может, независимо от обстоятельств, сориенти-

роваться, сколько прошло секунд — пять или десять, никогда не станет мастером своего дела. Это относится и к наблюдениям. С годами привыкаешь схватывать все на лету.

Комиссия. Это все, что ты видел?

Бертон. Нет. Но остального я точно не помню. Вероятно, все так подействовало на меня, что мой мозг прямо-таки отключился. Туман стал надвигаться, и мне пришлось набирать высоту. Как и когда я ее набрал, не помню. Впервые в жизни я чуть не капотировал. Руки у меня тряслись, я не мог как следует держать рычаг рулевого управления. Кажется, я что-то кричал и вызывал Базу, хотя и знал, что нет связи.

Комиссия. Попытался ли ты тогда вернуться?

Бертон. Нет. Выбравшись наконец из тумана, я подумал, что Фехнер, может быть, в какой-нибудь воронке. Бессмыслица? Конечно. Но я так думал. Раз тут такое творится, решил я, то, может, и Фехнера мне удастся найти. Поэтому я наметил, что осмотрю столько просве-

тов в тумане, сколько смогу. Но в третий раз я увидел такое, что, набрав высоту, понял: больше мне не выдержать. Не выдержать! Должен сказать... впрочем, это вам известно. Мне стало дурно, меня стошнило. До сих пор я никогда не испытывал ничего подобного, меня никогда не мутило.

Комиссия. Это был симптом отравления, Бертон.

Бертон. Возможно. Но то, что я увидел в третий раз, я не придумал. Это не был симптом отравления.

Комиссия. На каком основании ты так утверждаешь?

Бертон. Это была не галлюцинация. Ведь галлюцинацию создает мой собственный мозг, не правда ли?

Комиссия. Правда.

Бертон. Вот именно. А такого он не мог создать. Я никогда в это не поверю. Мой мозг на такое не способен.

Комиссия. Постарайся рассказать, что это было.

Бертон. Сначала я должен узнать, как отнесется комиссия к уже сказанному

мною.

Комиссия. Разве это имеет значение?

Бертон. Для меня имеет. Принципиальное. Как я говорил, я видел нечто такое, чего никогда не забуду. Если комиссия признает все, сообщенное мною, правдоподобным хоть на один процент и решит, что надо начать соответствующие исследования Океана именно в таком направлении, то я все расскажу. Но если комиссия намерена счесть эти сведения моим бредом, я не скажу больше ничего.

Комиссия. Почему?

Бертон. Потому что мои галлюцинации, пусть самые ужасные, — мое частное дело. А опыт моего пребывания на планете Солярис не может считаться моим частным делом.

Комиссия. Должно ли это означать, что, пока компетентные органы экспедиции не примут решения, ты отказываешься отвечать? Ты понимаешь, конечно, что комиссия не уполномочена принимать решение?

Бертон. Так точно».

На этом заканчивался первый протокол. Был

еще фрагмент второго, составленного спустя одиннадцать дней.

«*Председатель*. ...принимая во внимание все вышеизложенное, комиссия в составе трех врачей, трех биологов, одного физика, одного инженера-механика и заместителя начальника экспедиции пришла к заключению, что описанные Бертоном события представляют собою проявления галлюцинаторного синдрома, развившегося под влиянием отравления атмосферой планеты, с симптомами помрачения сознания, которым сопутствовало возбуждение ассоциативных зон коры головного мозга, и что в реальной действительности не было ничего или почти ничего, соответствовавшего этим событиям.

Бертон. Простите. Что значит «ничего или почти ничего»? Как это понять?

Председатель. Я еще не все сказал. В протокол занесено особое мнение физика, доктора Арчибальда Мессенджера, заявившего, что рассказанное Бертоном могло, как он полагает, произойти

в действительности и заслуживает тщательного исследования. Теперь все.

Бертон. Я настаиваю на своем вопросе.

Председатель. Все очень просто — «почти ничего» означает, что некие реальные явления могли послужить исходным пунктом твоих галлюцинаций, Бертон. В ветреную ночь самый нормальный человек может принять колышущийся куст за фигуру. А тем более на чужой планете, когда на мозг наблюдателя действует яд. Это сказано не в упрек тебе, Бертон. Каково твое решение?

Бертон. Сначала я хотел бы узнать, будет ли иметь последствия особое мнение доктора Мессенджера.

Председатель. Практически не будет, то есть исследований в данном направлении никто вести не станет.

Бертон. Нашу беседу заносят в протокол?

Председатель. Да.

Бертон. В таком случае я хотел бы заявить, что комиссия проявила неуважение не ко мне — я здесь не в счет, — а к самому духу экспедиции. Я еще раз хочу

подчеркнуть, что отказываюсь отвечать на дальнейшие вопросы.

Председатель. У тебя все?

Бертон. Да. Но я хотел бы встретиться с доктором Мессенджером. Возможно ли это?

Председатель. Разумеется».

Так заканчивался второй протокол. Внизу мелким шрифтом было напечатано примечание, в котором говорилось, что доктор Мессенджер на другой день почти три часа беседовал с Бертоном с глазу на глаз, после чего обратился в Совет экспедиции, добиваясь расследования показаний пилота. Мессенджер утверждал, что в пользу такого расследования говорят дополнительные данные, полученные от Бертона, которые будут оглашены только в том случае, если Совет примет положительное решение. Совет в лице Шенагана, Тимолиса и Трайе отнесся к заявлению Мессенджера отрицательно, и дело было прекращено.

В книге приводилась также фотокопия одной страницы письма, найденного после смерти Мессенджера в его бумагах. Вероятно, это был черновик. Равинцеру не удалось установить, к чему привело это письмо и было ли оно вообще отправлено.

«...их потрясающая тупость, — так начинался текст. — Заботясь о своем авторитете, члены Совета — а конкретно Шеннаган и Тимолис (голос Трайе не в счет) — отклонили мои требования. Теперь я обращаюсь непосредственно в Институт, но ты сам понимаешь, что это лишь бессильный протест. Связанный словом, я не могу, к сожалению, передать тебе, что рассказал мне Бертон. На решение Совета, разумеется, повлияло то, что с такими потрясающими сведениями пришел человек без ученой степени. А ведь многие исследователи могли бы позавидовать трезвости ума и наблюдательности этого пилота. Пожалуйста, сообщи мне с обратной почтой следующее:

1) биографию Фехнера, начиная с детства;

2) все, что тебе известно о его семье и семейных обстоятельствах; кажется, у него остался маленький ребенок;

3) топографический план населенного пункта, где Фехнер вырос.

Мне хотелось бы еще изложить тебе

свое мнение обо всем этом. Ты знаешь, через какое-то время после того, как Фехнер и Каруччи отправились в полет, в центре красного солнца появилось пятно, корпускулярное излучение которого, по данным Сателлоида, прервало радиосвязь в районе южного полушария — там находилась наша База. Из всех исследовательских групп на самое большое расстояние от Базы удалились Фехнер и Каруччи.

Такого плотного и устойчивого тумана при абсолютном штиле мы не наблюдали ни разу за все время пребывания на планете, вплоть до дня катастрофы.

Я считаю, что все, виденное Бертоном, было частью «Операции “Человек”», выполненной этим клейким чудовищем. Подлинным источником всех образований, замеченных Бертоном, был Фехнер, его мозг, подвергнутый какому-то непонятному для нас «психическому вскрытию»; в порядке эксперимента воспроизводились, реконструировались некоторые (вероятно, наиболее устойчивые) отпечатки в его памяти.

Знаю, это звучит, как фантастика; знаю, я могу ошибаться. Поэтому я и прошу у тебя помощи. Сейчас я на Аларихе и жду твоего ответа.

Твой А.»

Стемнело, книжка в моей руке стала серой, я читал с трудом, буквы сливались. На середине страницы текст обрывался — я добрался до конца истории, после моих собственных переживаний показавшейся мне весьма правдоподобной. Я повернулся к иллюминатору. Он стал густофиолетовым, на горизонте еще тлели угольками облака. Океан, окутанный тьмой, был невидим. Я слышал слабый шелест бумажных полосок у отверстий вентиляторов. Нагретый воздух с чуть заметным запахом озона казался безжизненным. Кругом ни звука. Я подумал, что в нашем решении остаться нет ничего героического. Период беззаветной борьбы, отважных экспедиций, тяжелых потерь, подобных гибели Фехнера — первой жертвы Океана, давно уже прошел. Мне было почти безразлично, кто «в гостях» у Снаута или Сарториуса. Скоро, подумал я, мы перестанем стыдиться и прятаться друг от друга. Если мы не сможем избавиться от «гостей», то привыкнем к ним и будем жить с ними, а если их создатель из-

менит правила игры, мы приспособимся к новым, хотя сначала станем отбрыкиваться, метаться, может быть, кто-нибудь из нас покончит с собой, но в конце концов все придет в равновесие.

В комнате сгущалась темнота, напоминавшая земную. Ничего не было видно, кроме светлых контуров умывальника и зеркала. Я встал, ощупью нашел на полке вату, обтер влажным тампоном лицо и лег на койку. Шелест вентилятора надо мной то нарастал, то затихал, словно там билась ночная бабочка. Я не различал даже иллюминатора, все залила чернота, лишь тоненькая полоска неизвестно откуда доходившего слабого света маячила передо мной, не то на стене, не то где-то далеко, в глубине океанской пустыни. Я вспомнил, как напугал меня вчера вечером безжизненный взгляд солярийских просторов, и мне стало смешно. Теперь я его не боялся и вообще ничего не боялся. Я поднес руку к глазам. Фосфорически светился циферблат. Через час взойдет голубое солнце. Я наслаждался темнотой, глубоко дышал, ни о чем не думая.

Шевельнувшись, я почувствовал на бедре плоский магнитофон. Ах да, Гибарян. Его голос, записанный на пленку. Мне даже не пришло в голову воскресить его, выслушать. А ведь это бы-

ло единственное, что я мог сделать для Гибаряна. Я достал магнитофон и хотел спрятать его под койку. Раздался шорох, слабо скрипнула дверь.

— Крис?.. — послышался тихий голос. — Ты здесь, Крис? Как темно!

— Ничего, — сказал я. — Не бойся. Иди ко мне.

Конференция

Я лежал на спине, голова Хэри покоилась на моем плече, я был не в состоянии ни о чем думать. Темнота в комнате оживала: я слышал шаги; стены исчезли; надо мной что-то громоздилось, все выше и выше, до бесконечности; меня что-то пронизывало насквозь, обнимало, не прикасаясь; темнота, прозрачная, непереносимая, душила меня. Где-то очень далеко билось мое сердце. Я сосредоточил все свое внимание, собрал последние силы, ожидая агонии. Она не наступала. Я только все уменьшался, а невидимое небо, невидимый горизонт — все пространство, лишенное форм, туч, звезд, отступая и увеличиваясь, втягивало меня в свой центр. Я пытался зарыться в постель, но подо мной ничего не было. Мрак больше ни от чего не спасал. Стиснув руки, я закрыл ими лицо, но и лица у меня уже не было. Пальцы прошли насквозь, хотелось закричать, завыть...

Серо-голубая комната. Вещи, полки, углы — все матовое, все обозначено только контурами, лишено собственных красок. В иллюминаторе — ярчайшая, перламутровая белизна, безмолвие.

Я обливался потом. Покосившись на Хэри, я увидел: она смотрит на меня.

— У тебя не затекло плечо?

— Что?

Хэри подняла голову. У нее были глаза такого же цвета, как и комната, — серые, лучезарные, под черными ресницами. Я почувствовал тепло ее шепота раньше, чем понял ее слова.

— Нет. Ах да, затекло.

Я положил руку на ее плечо и вздрогнул от прикосновения. Потом я привлек ее к себе.

— Тебе снилось что-то страшное?

— Снилось? Да, снилось. А ты не спала?

— Не знаю. Кажется, не спала. Мне не хочется спать. А ты спи. Почему ты так смотришь?

Закрыв глаза, я чувствовал, как равномерно, спокойно бьется ее сердце там, где гулко стучит мое. Бутафория, подумал я. Но меня больше ничто не удивляло, ничто, даже мое равнодушие. Страх и отчаяние миновали, я ушел от них далеко — так далеко, как никто на свете. Я прикоснулся губами к ее шее, потом ниже, к маленькой, гладкой, как стенки раковины, впадинке. И здесь тоже бился пульс.

Я приподнялся на локте. Мягкий рассвет сменился резким голубым заревом, весь горизонт

пылал. Первый луч стрелой прошел через комнату, все заблестело, луч радугой преломился в зеркале, на ручках, на никелевых трубках; казалось, что на своем пути свет ударяет в каждую плоскость, желая освободиться, разнести тесное помещение. Смотреть было больно. Я отвернулся. Зрачки у Хэри сузились. Она подняла на меня глаза.

— Это день наступает? — глухо спросила Хэри. Все было не то во сне, не то наяву.

— Здесь всегда так, дорогая.

— А мы?

— Ты о чем?

— Мы здесь долго пробудем?

Мне стало смешно. Но неясный звук, вырвавшийся из моей груди, был мало похож на смех.

— Я думаю, довольно долго. Тебе не хочется?

Она, не мигая, внимательно глядела на меня. Моргает ли она вообще? Я не знал. Хэри потянула одеяло, и на ее руке зарозовело маленькое треугольное пятнышко.

— Почему ты так смотришь?

— Ты красивая.

Хэри улыбнулась — из вежливости, в ответ на мой комплимент.

— Правда? А ты смотришь так, словно... слов-

но...

— Что?

— Словно ищешь чего-то.

— Ну что ты говоришь!

— Нет, не ищешь, а думаешь, будто со мной что-то произошло или я тебе чего-то не сказала.

— Что ты, Хэри!

— Раз ты отпираешься, значит так и есть. Как хочешь! За пылавшими стеклами рождался мертвящий голубой зной. Заслоняя рукой глаза, я поискал очки. Они лежали на столе. Встав на колени, я надел очки и увидел в зеркале отражение Хэри. Она ждала. Когда я снова сел рядом, Хэри улыбнулась.

— А мне?

Я не сразу понял.

— Очки?

Встав, я начал шарить в ящиках, на столике у окна. Я нашел две пары очков, обе были слишком велики, подал их Хэри. Она надела одни, потом другие. Очки съезжали ей на нос.

С протяжным скрежетом поползли заслонки, закрывая иллюминаторы. Через минуту на Станции, которая, как черепаха, спряталась в свой панцирь, наступила ночь. На ощупь я снял с Хэри очки и вместе со своими положил под койку.

— Что мы будем делать? — спросила Хэри.
— То, что делают ночью, — спать.
— Крис!
— Что?
— Может, сделать тебе новый компресс?
— Нет, не надо. Не надо... любимая.

Говоря, я сам не понимал, притворяюсь я или нет. В темноте я обнял ее хрупкие плечи и, чувствуя их дрожь, внезапно поверил, что это Хэри. Впрочем, не знаю. Мне вдруг показалось — обманываю я, а не она. Хэри такая, какая есть.

Потом я несколько раз засыпал, вздрагивая, просыпался, бешено колотившееся сердце постепенно успокаивалось. Смертельно измученный, я прижимал к себе Хэри. Она осторожно прикасалась к моему лицу, ко лбу, проверяя, нет ли у меня жара. Это была Хэри, самая настоящая Хэри, никакой другой быть не могло.

От этой мысли что-то во мне изменилось, я успокоился и почти тут же уснул.

Меня разбудило нежное прикосновение. На лбу я почувствовал приятную прохладу. Мое лицо было накрыто чем-то влажным и мягким, потом это мягкое медленно поднялось, я увидел склонившуюся надо мной Хэри. Обеими руками она выжимала над фарфоровой мисочкой марлю.

Рядом стоял флакон с жидкостью от ожогов. Хэри улыбнулась мне.

— Ну ты и спишь, — сказала она, снова накладывая марлю. — Тебе больно?

— Нет.

Я сморщил лоб. Действительно, ожога не ощущалось. Хэри сидела на краю койки, завернувшись в мужской купальный халат, белый с оранжевыми полосками; ее черные волосы рассыпались по воротнику. Она высоко, до локтей, засучила рукава, чтобы они не мешали. Мне страшно захотелось есть, пожалуй, часов двадцать у меня ничего не было во рту. Когда Хэри сняла с моего лица компресс, я встал и увидел два лежащих рядом совершенно одинаковых белых платья с красными пуговицами — одно, которое помог ей снять, разрезав, и второе, в котором она пришла вчера. На сей раз она сама распорола ножницами шов, сказав, что застежка, вероятно, сломалась.

Эти одинаковые платья были самым страшным из всего, что я пережил до сих пор. Хэри возилась в шкафчике с лекарствами, наводя в нем порядок. Я незаметно отвернулся и до крови укусил себе руку. Не сводя глаз с платьев, вернее, с одного и того же, повторенного дважды, я попятился к две-

ри. Вода с шумом текла из крана. Я открыл дверь, тихо выскользнул в коридор и осторожно закрыл ее. До меня доносился приглушенный плеск льющейся воды и звяканье стекла. Неожиданно все смолкло. Коридор освещался продолговатыми лампами на потолке, расплывчатое пятно отраженного света лежало на двери, возле которой я ждал, стиснув зубы. Я схватился за ручку, хотя не надеялся удержать ее. Резкий рывок — я чуть не выпустил ручку, но дверь не открылась, а только задрожала, раздался оглушительный треск. Пораженный, я выпустил ручку и отступил — с дверью творилось что-то невероятное: ее гладкая пластиковая плита гнулась, словно с моей стороны ее вдавливали внутрь комнаты. Эмаль отскакивала маленькими кусочками, обнажая сталь дверного косяка, который натягивался все сильнее. Я понял: Хэри тянет на себя дверь, которая открывается в коридор. Свет преломился на белой плоскости, как в вогнутом зеркале; раздался сильный хруст, и плита, изогнувшись, треснула. Одновременно ручка, вырванная из гнезда, влетела в комнату. В проломе показались окровавленные руки и, оставляя красные следы на лакированной поверхности двери, тянулись ко мне — дверь разломилась надвое и повисла

на скобах. Бело-оранжевый призрак с мертвенно-бледным лицом бросился мне на грудь, захлебываясь от рыданий.

Я был так потрясен, что даже не пытался бежать. Хэри конвульсивно хватала воздух, билась головой о мое плечо, ее волосы растрепались. Обняв Хэри, я почувствовал, что ее тело обмякло в моих руках. Протиснувшись в разбитую дверь, я внес Хэри в комнату, положил ее на койку. Ногти у Хэри были поломаны и окровавлены, кожа на ладонях содрана. Я поглядел на ее лицо — открытые глаза смотрели сквозь меня.

— Хэри!

Она что-то невнятно пробормотала.

Я поднес палец к ее глазам. Веко закрылось. Я пошел к шкафчику с лекарствами. Койка скрипнула. Я обернулся. Хэри сидела выпрямившись, со страхом глядя на свои окровавленные руки.

— Крис, — простонала она, — я... я... что со мной?

— Ты поранилась, выламывая дверь, — сухо сказал я. Губы меня не слушались, нижнюю кололо, как иголками. Я прикусил ее зубами.

Хэри какое-то время рассматривала свисающие с притолоки зазубренные куски пластика, потом перевела глаза на меня. Подбородок у нее задро-

жал, я заметил, с каким трудом она старается побороть страх.

Я разрезал марлю на куски, вынул из шкафчика лекарство и подошел к койке. Все выпало у меня из рук, стеклянная баночка с коллодием разбилась, но я даже не наклонился. Она была уже не нужна.

Я поднял руку Хэри. Вокруг ногтей запеклась кровь, но раны исчезли, ладонь затянулась молодой, розовой кожицей, порезы заживали прямо на глазах.

Я сел, погладил Хэри по лицу и попытался улыбнуться ей. Не скажу, что мне удалось это.

— Почему ты так сделала, Хэри?

— Не может быть... Я?..

Она глазами указала на дверь.

— Ты. Разве ты не помнишь?

— Не помню. Я заметила, что тебя нет, очень испугалась и...

— И что?

— Стала тебя искать, подумала, может быть, ты в душевой...

Только теперь я увидел, что шкаф, закрывающий вход в душевую, отодвинут в сторону.

— А потом?

— Я побежала к двери.

— И что?

— Не помню. Что-то произошло?

— Что?

— Не знаю.

— А что ты помнишь? Что было потом?

— Я сидела здесь, на койке.

— А ты помнишь, как я принес тебя сюда?

Хэри колебалась. Уголки губ у нее опустились, лицо стало напряженным.

— Кажется... Может быть. Сама не знаю.

Она встала, подошла к разломанной двери.

— Крис!

Я обнял ее сзади за плечи. Хэри дрожала. Вдруг она обернулась, ища моего взгляда.

— Крис, — шептала она, — Крис.

— Успокойся.

— Крис, неужели... Крис, неужели у меня эпилепсия?

Эпилепсия, господи! Мне стало смешно.

— Что ты, дорогая. Просто дверь, знаешь ли, здесь такие двери...

Мы вышли из комнаты, когда заслонки иллюминатора с протяжным визгом поднялись и показался погружающийся в Океан солнечный диск.

Я направился в небольшую кухню, располо-

женную в противоположном конце коридора. Мы хозяйничали вместе с Хэри, обшаривая шкафчики и холодильник. Скоро я обнаружил, что Хэри не очень-то умеет готовить, а может только открывать консервные банки. Это умел и я. Я проглотил содержимое двух банок и выпил несчетное количество чашек кофе. Хэри тоже ела, но ела, как едят иногда дети, не желая огорчать взрослых, — без аппетита, машинально и безразлично.

Потом мы пошли в маленькую операционную, которая находилась рядом с радиостанцией. У меня созрел план. Хэри я сказал, что хочу ее на всякий случай обследовать. Я расположился на складном кресле и достал из стерилизатора шприц и иглы. Где что находится, я знал почти на память, так вымуштровали нас на Земле, на тренажере. Взяв каплю крови из пальца Хэри, я сделал мазок, высушил его в эксикаторе, обработал ионами серебра в высоком вакууме.

Реальность этой работы успокаивала. Хэри, лежа на кушетке, разглядывала операционную, заставленную различными аппаратами.

Тишину прервало жужжание внутреннего телефона. Я взял трубку.

— Кельвин слушает, — сказал я, не сводя глаз

с Хэри. Она казалась вялой — видимо, устала от пережитого за последние часы.

— Ты в операционной? Наконец-то! — услышал я вздох облегчения.

Это был Снаут. Я ждал, прижав трубку к уху.

— У тебя «гость», да?

— Да.

— И ты занят?

— Да.

— Кое-какие исследования, а?

— А что? Ты хотел бы сыграть партию в шахматы?

— Не морочь голову, Кельвин. Сарториус хочет с тобой встретиться. Вернее, с нами.

— Какая новость, — удивился я. — А что с... — Я не закончил, потом добавил:

— Он один?

— Нет. Я неточно выразился. Он хочет с нами поговорить. Соединимся втроем, по видеофону, но только заслоним экран.

— Ах, так? Почему он не позвонил прямо мне? Ему стыдно?

— Что-то в этом роде, — пробормотал Снаут. — Ну как?

— Значит, нам надо договориться? Давай через час. Хорошо?

— Хорошо.

На маленьком — не больше ладони — экране я видел только его лицо. Снаут испытующе глядел мне в глаза. В трубке потрескивали разряды.

Потом Снаут нерешительно произнес:

— Как ты поживаешь?

— Сносно. А ты?

— Полагаю, немного хуже, чем ты. Я мог бы?..

— Ты хотел бы прийти ко мне? — догадался я.

Я посмотрел через плечо на Хэри. Она свесила голову с подушки и лежала, закинув ногу на ногу, со скуки подбрасывая серебристый шарик, которым заканчивалась цепочка у поручня кресла.

— Брось это, слышишь? Брось! — раздался громкий голос Снаута.

Я увидел на экране его профиль. Больше я ничего не расслышал, он закрыл рукой микрофон, я видел только его шевелившиеся губы.

— Нет, я не могу прийти. Может, потом. Через час, — быстро сказал он, и экран погас.

Я повесил трубку.

— Кто это был? — равнодушно спросила Хэри.

— Да тут, один. Снаут. Кибернетик. Ты его не знаешь.

— Еще долго?

— А что, тебе скучно? — спросил я.

Я вложил первую серию препаратов в кассету нейтринного микроскопа и стал нажимать цветные кнопки выключателей. Силовые поля глухо загудели.

— Развлечений здесь нет, а если моего скромного общества тебе недостаточно, то дело плохо, — говорил я рассеянно, с длинными паузами, опуская обеими руками большую черную головку, в которой светился окуляр микроскопа, и прикладывая глаза к мягкой резиновой окантовке.

Хэри что-то сказала, я не разобрал слов. Я видел, словно с большой высоты, безбрежную пустыню, залитую серебристым блеском. На ней лежали окруженные легкой дымкой, потрескавшиеся, выветрившиеся плоские булыжники. Это были красные кровяные тельца. Не отрывая глаз от стекол, я увеличил резкость и все глубже и глубже погружался в горящее серебром поле. Левой рукой я вращал рукоятку регулятора столика, а когда одинокое, как валун, тельце оказалось на пересечении черных линий, я усилил увеличение. Казалось, что объектив наезжает на бесформенный, вдавленный посередине эритроцит, который выглядел уже как кратер вулкана, с черными резкими тенями в углублениях

кольцеобразной кромки. Эта кромка, покрытая кристаллическим налетом ионов серебра, не умещалась в фокусе. Появились мутные, видимые словно сквозь мерцавшую воду очертания сплавленных, изогнутых цепочек белка; поймав на черном скрещении одно из уплотнений белковых обломков, я медленно поворачивал ручку увеличителя, все поворачивал и поворачивал; вот-вот должен был наступить конец этого путешествия вглубь. Расплющенная тень молекулы заполнила все поле и... расплылась в тумане!

Ничего, однако, не произошло. Я должен был увидеть мерцание студенисто дрожащих атомов, но их не было. Экран отливал незамутненным серебром. Я повернул рукоятку до предела. Гневное гудение микроскопа усилилось, но я по-прежнему ничего не видел. Повторяющийся дребезжащий сигнал предупреждал, что аппаратура перегружена. Я еще раз глянул на серебристую пустыню и выключил ток.

Я посмотрел на Хэри. Она принужденно улыбнулась, чтобы скрыть зевок.

— Как там мои дела? — спросила Хэри.

— Очень хорошо, — сказал я. — Думаю, лучше и быть не может.

Я все глядел на нее, опять ощущая покалыва-

ние в нижней губе. Что, собственно, случилось? Что это значит? Это тело, на вид такое хрупкое и слабое, нельзя уничтожить? По сути, оно состоит из ничего? Я кулаком ударил по цилиндрическому корпусу микроскопа. Может, какой-нибудь дефект? Может, не фокусирует?.. Нет, я знал, что аппаратура исправна. Я спустился на все уровни: клетка, белковое вещество, молекула — все выглядело так, как на тысячах препаратов, которые я видел. Но последний шаг вниз вел в никуда.

Взяв у Хэри кровь из вены, я разлил ее по пробиркам. Анализы заняли у меня больше времени, чем я предполагал, — я немного потерял сноровку. Реакции были нормальные. Все. Разве что...

Я капнул концентрированной кислотой на красную бусинку. Капля задымилась, стала серой, покрылась налетом грязной пены. Разложение. Денатурация. Дальше, дальше! Я потянулся за новой пробиркой. Когда я взглянул на старую, пробирка чуть не выпала у меня из рук.

Под грязной пеной на самом дне пробирки снова вырастал темно-красный слой. Кровь, сожженная кислотой, восстанавливалась! Это было невероятно! Это было невозможно.

— Крис! — раздалось вдалеке. — Крис, телефон!

— Что? А, телефон? Спасибо.

Телефон жужжал уже давно, но я его только что услышал.

— Кельвин слушает, — сказал я в трубку.

— Говорит Снаут. Я переключил линию, и мы трое одновременно будем слышать друг друга.

— Приветствую вас, доктор Кельвин, — раздался высокий гнусавый голос Сарториуса. Голос звучал так, словно его хозяин вступал на опасно прогибающиеся подмостки, — пронзительно, настороженно, хотя внешне спокойно.

— И я вас приветствую, доктор, — ответил я.

Мне стало смешно, хотя не было никакого повода для смеха. Над кем мне, в конце концов, смеяться? Я что-то держал в руке: пробирку с кровью. Я встряхнул пробирку.

Кровь уже свернулась. Может, мне все привиделось? Может, мне просто показалось?

— Я хотел бы представить на ваше рассмотрение некоторые проблемы, связанные с э... фантомами, — слышал и не слышал я Сарториуса.

Он с трудом пробивался к моему сознанию. Я защищался от его голоса, по-прежнему уставившись на пробирку со сгустком крови.

— Назовем их образованием Ф, — быстро под-

сказал Снаут.

— Прекрасно.

Посередине экрана темнела вертикальная линия, я принимал одновременно два канала — по обе стороны линии я должен был видеть моих собеседников. Однако экран оставался темным, только узкая светящаяся каемка говорила, что аппаратура работает, а передатчики чем-то заслонены.

— Каждый из нас провел различные исследования... — Снова та же осторожность в гнусавом голосе говорящего. Молчание. — Может, сначала объединим наши наблюдения, а потом я мог бы сообщить то, к чему пришел сам... Может, вы, доктор Кельвин, начнете...

— Я?

Внезапно я почувствовал взгляд Хэри. Я положил пробирку на стол, она покатилась под штатив, и, придвинув ногой треножник, уселся на него. Сначала я хотел отказаться, но неожиданно для самого себя произнес:

— Хорошо. Краткий обмен мнениями? Хорошо! Я почти ничего не сделал, но сказать могу. Одно микроскопическое исследование и несколько реакций. Микрореакций. У меня сложилось впечатление, что...

До этой минуты я не представлял, о чем говорить. Только сейчас меня осенило.

— Все в норме, но это подражание. Имитация. В каком-то смысле это суперкопия: воспроизведение, более совершенное, чем оригинал. Это значит, что там, где у человека мы сталкиваемся с пределом структурной делимости, тут мы идем дальше — здесь применен субатомный строительный материал!

— Постойте. Постойте. Как вы это понимаете? — допытывался Сарториус.

Снаут не произносил ни слова. А может, это его учащенное дыхание раздавалось в трубке? Хэри посмотрела в мою сторону. Я был сильно взволнован — последние слова я почти прокричал. Успокоившись, я сгорбился на своем неудобном табурете и закрыл глаза.

— Как это выразить? Первичный элемент наших организмов — атомы. Предполагаю, что образования Ф состоят из единиц, меньших, чем обычные атомы. Значительно меньших.

— Из мезонов? — подсказал Сарториус. Он вовсе не удивился.

— Нет, не из мезонов... Мезоны можно было бы увидеть. Ведь разрешающая способность аппаратуры, которая стоит здесь у меня, внизу,

достигает десяти в минус двадцатой степени ангстрем. А все-таки ничего не видно. Итак, не мезоны. Пожалуй, скорее нейтрино.

— Как вы себе это представляете? Ведь нейтринные конгломераты неустойчивы...

— Не знаю. Я не физик. Возможно, их стабилизирует какое-то силовое поле. В этом я не разбираюсь. Во всяком случае, если я прав, то они состоят из частиц меньше атома приблизительно в десять тысяч раз. Впрочем, это еще не все! Если бы молекулы белка и клетки были построены непосредственно из «микроатомов», то они соответственно были бы меньше. И кровяные тельца, и ферменты... Но и это не так. Отсюда следует, что белки, клетки, ядра клеток — только *имитация*! На самом деле структура, ответственная за функционирование «гостя», скрыта глубже.

— Кельвин! — Снаут почти кричал.

Я удивился и замолк. Я сказал: «гостя»?! Да. Хэри, однако, не слышала. Впрочем, она не поняла бы. Хэри смотрела в иллюминатор, подперев голову рукой, ее маленький чистый профиль вырисовывался на фоне красной зари. Из трубки доносилось только далекое дыхание.

— Что-то в этом есть, — пробурчал Снаут.

— Да, возможно, — добавил Сарториус, — толь-

ко есть одна загвоздка — Океан состоит не из гипотетических частиц, о которых говорит Кельвин, а из обыкновенных.

— Вероятно, он может синтезировать и такие, — заметил я.

Меня вдруг охватила апатия. Это был нелепый, никому не нужный разговор.

— Но это объяснило бы необыкновенную выносливость, — буркнул Снаут, — и темп регенерации. Может, даже энергетический источник находится там, в глубине, им ведь не надо есть...

— Прошу слова, — изрек Сарториус.

Мне он был неприятен. Если бы он по крайней мере не выходил из своей роли!

— Давайте рассмотрим вопрос мотивировки. Мотивировки появления образования Ф. Я рассматривал бы вопрос так: что такое образования Ф? Это не личности, не копии определенных личностей, а материализованная проекция тех сведений о данной личности, которые заключены в нашем мозгу.

Меткость определения поразила меня. Сарториус хотя и антипатичен, но не глуп.

— Это правильно, — вставил я. — Это объясняет даже, почему появились личн... образования именно такие, а не иные. Выбраны самые стойкие

отпечатки в памяти, наиболее изолированные от других, хотя, конечно, ни один такой отпечаток не может быть полностью обособлен и в ходе его «копирования» были, могли быть захвачены части других отпечатков, случайно находившихся рядом, поэтому прибывший проявляет иногда больше знаний по сравнению с подлинной личностью, чьим повторением...

— Кельвин! — снова прервал меня Снаут.

Меня поразило, что только он возмущался моими неосторожными словами. Сарториус, казалось, их не боится. Возможно, его «гость» по своей природе не такой сообразительный, как «гость» Снаута. На секунду в моем воображении появился какой-то карлик-кретин, неотступно следующий за доктором Сарториусом.

— Да, и мы это заметили, — начал Сарториус. — Теперь что касается мотивов появления образований Ф... Первая, более или менее естественная мысль — на нас проводят эксперимент. Однако это был бы эксперимент, скорее всего... жалкий. Если мы ставим опыт, то учимся на результатах, прежде всего на ошибках, и при повторении опыта вносим в него поправки... В данном случае об этом не может быть и речи. Те же самые образования Ф появляются заново...

неоткорректированные... не вооруженные дополнительно ничем против... наших попыток избавиться от них...

— Одним словом, здесь нет функциональной петли действия с коррегирующей обратной связью, как определил бы это доктор Снаут, — заметил я. — И что из этого следует?

— Только одно: если считать происходящее экспериментом, то это не эксперимент, а... халтура, что, впрочем, неправдоподобно. Океан... точен. Это проявляется хотя бы в двухслойной конструкции образований Ф. До определенной границы они ведут себя так, как вели бы себя... настоящие... настоящие... Он запутался.

— Оригиналы, — быстро подсказал ему Снаут.

— Да, оригиналы. Но когда ситуация превышает нормальные возможности заурядного... оригинала, наступает как бы «выключение сознания» образования Ф, и тут же проявляются другие действия, нечеловеческие...

— Верно, — сказал я, — но таким образом мы только составляем каталог поведения этих... этих образований, и ничего больше. Что совершенно бессмысленно.

— Не уверен, — запротестовал Сарториус.

Тут я понял, чем он меня так раздражает: он

не говорил, а произносил речь, как на заседании Института. Вероятно, иначе разговаривать он не умел.

— Здесь возникает проблема индивидуальности. Океан полностью лишен этого понятия. Так и должно быть. Мне кажется, дорогие коллеги, что данная... э... деликатнейшая, неприятная для нас сторона эксперимента совершенно не имеет никакого значения для Океана, она — за пределами его понимания.

— Вы считаете, что это непреднамеренно?.. — спросил я.

Его утверждение немного ошеломило меня, но, подумав, я решил, что такую точку зрения нельзя не принимать во внимание.

— Да. Я не верю ни в какую злонамеренность, желание нанести удар по самому больному месту, как считает коллега Снаут.

— Я вовсе не приписываю Океану человеческих чувств, — первый раз взял слово Снаут, — но, может, ты скажешь, как объяснить эти постоянные возвращения?

— Может, включено устройство, которое все вертится и вертится, как граммофонная пластинка, — проговорил я не без желания поддеть Сарториуса.

— Не будем отвлекаться, коллеги, — гнусавым голосом заявил доктор. — Это не все, что я хотел вам сообщить. В нормальных условиях я считал бы представление даже краткого сообщения о состоянии моих работ преждевременным, но, учитывая специфические условия, я делаю исключение. У меня сложилось впечатление, только впечатление, не больше, что в предположениях коллеги Кельвина есть рациональное зерно. Я имею в виду его гипотезу о нейтринной структуре. Такие системы мы знаем лишь теоретически, нам неизвестно, можно ли их стабилизировать. Здесь появляется определенный шанс, ибо уничтожение силового поля, которое придает стабильность системе...

Я заметил, как темный предмет, заслоняющий экран со стороны Сарториуса, отодвигается: на самом верху засветилась щель — там медленно шевелилось что-то розовое. И вдруг темная перегородка упала.

— Прочь! Прочь!!! — раздался в трубке отчаянный крик Сарториуса.

На вспыхнувшем экране мелькнули руки доктора в широких лабораторных нарукавниках и большой, золотистый, похожий на диск предмет, и все исчезло раньше, чем я понял, что золоти-

стый круг — это соломенная шляпа...

— Снаут? — окликнул я, переведя дыхание.

— Слушаю, Кельвин, — отозвался устало кибернетик.

Вдруг я почувствовал, что Снаут мне очень симпатичен. Я на самом деле предпочитал не знать, кто у него «в гостях».

— С нас, пожалуй, хватит, а?

— Пожалуй, — согласился я. — Послушай, когда сможешь, загляни вниз или ко мне в кабину, ладно? — поспешно добавил я, пока он не положил трубку.

— Договорились, — ответил Снаут. — Когда — не знаю.

На этом проблемная дискуссия закончилась.

Чудища

Ночью меня разбудил свет. Я приподнялся на локте, другой рукой прикрывая глаза. Хэри, закутавшись в простыню, сидела у меня в ногах. Она съежилась, волосы упали ей на лицо, плечи дрожали. Хэри беззвучно плакала.

— Хэри!

Она съежилась еще больше.

— Что с тобой?.. Хэри...

Я сел, не совсем еще проснувшись, постепенно приходя в себя — меня только что мучили кошмары.

— Любимая!

— Не говори так!

— Да что случилось, Хэри?

Я увидел ее мокрое, искаженное лицо. Крупные детские слезы текли по щекам, блестели в ямочке на подбородке, капали на простыню.

— Я тебе не нужна.

— Что ты, Хэри!

— Я сама слышала.

Я почувствовал, как у меня немеет лицо.

— Что ты слышала? Ничего ты не поняла, я

просто...

— Нет, нет, ты говорил, что это не я... чтобы я уходила. Я ушла бы. Боже! Я ушла бы, но не могу. Не знаю, что со мной. Я хотела уйти, но не смогла. Я такая... такая дрянь!

— Маленькая!!!

Я схватил ее, прижал к себе изо всех сил. Все рушилось. Я целовал ее руки, ее мокрые, соленые от слез пальцы, умолял, клялся, просил прощения, говорил, что это был дурацкий, противный сон. Понемногу Хэри успокоилась. Она уже не плакала. Глаза у нее стали огромными, как у лунатика. Слезы высохли. Она отвернулась.

— Нет, — сказала она, — не говори этого, не надо. Ты уже не такой, как раньше.

— Я не такой?! — со стоном откликнулся я.

— Да. Я тебе не нужна. Я все время это чувствовала. Только притворялась, что не замечаю. Думала, может, мне кажется. Но нет, не кажется. Ты ведешь себя... иначе. Не принимаешь меня всерьез. Ты видел сон, правда, но ведь это я тебе снилась. Ты называл меня по имени. Тебе было противно. Почему? Почему?!

Я встал перед ней на колени, припал к ее ногам.

— Маленькая...

— Я не хочу, чтобы ты так меня называл. Не хочу, слышишь? Я не маленькая. Я...

Хэри разрыдалась, уткнувшись лицом в постель. Я встал. Из вентиляционных отверстий с тихим шуршанием шел холодный воздух. Меня познабливало. Я накинул купальный халат, сел рядом с Хэри и коснулся ее руки.

— Хэри, послушай. Я что-то тебе скажу... скажу тебе правду...

Она медленно приподнималась. Я видел, как у нее на шее под тонкой кожей бьется жилка. Лицо у меня опять онемело. Меня пронизывал холод. В голове была полная пустота.

— Правду? — переспросила Хэри. — Честное святое слово?

Я не мог сразу ответить, к горлу подступил комок. У нас было такое старое заклинание, наше собственное заклинание. После него никто из нас не смел не то что солгать, но даже умолчать о чем-нибудь. Когда-то мы мучили друг друга чрезмерной откровенностью, наивно ища в ней спасения.

— Честное святое слово, — серьезно сказал я. — Хэри...

Она ждала.

— Ты тоже изменилась. Все меняются, но я не

то хотел сказать. Действительно, ты не можешь без меня. Почему — мы пока не знаем... Но это даже к лучшему, ведь я тоже не могу без тебя...

— Крис!

Я поднял Хэри вместе с простыней, в которую она закуталась. Уголок простыни, мокрый от слез, упал мне на плечо. Я ходил по комнате, баюкая Хэри. Она погладила меня по лицу.

— Нет, ты не изменился. Это я, — шепнула она мне на ухо. — Со мной что-то происходит. Может, дело в этом?

Хэри смотрела в черный пустой прямоугольник, оставшийся от разбитой двери, обломки которой я отнес вечером на склад. Надо будет, подумал я, повесить новую. Я посадил Хэри на койку.

— Ты вообще-то спишь? — Я стоял над ней, опустив руки.

— Не знаю.

— Ты должна знать. Подумай, родная.

— Пожалуй, сплю, но не по-настоящему. Может, я больна. Я просто лежу и думаю, и знаешь...

Хэри вздрогнула.

— Что? — спросил я шепотом, боясь, что мне изменит голос.

— У меня очень странные мысли. Не знаю, от-

куда они берутся.

— Например?

Надо быть спокойным, думал я, что бы она ни сказала. К ее словам я приготовился, как к сильному удару. Хэри беспомощно покачала головой.

— Все как-то так... вокруг...

— Не понимаю...

— Словно не только во мне, но и дальше, как-то... не знаю, как сказать... Словами не передашь...

— Наверное, это тебе снится, — словно мимоходом заметил я. Мне стало легче дышать. — А теперь давай погасим свет, и до утра у нас не будет никаких огорчений, а утром, если очень захочется, придумаем себе новые, хорошо?

Хэри протянула руку к выключателю. Стало темно, я улегся в остывшую постель и ощутил тепло ее дыхания. Я обнял Хэри.

— Крепче, — шепнула она. И после долгой паузы: — Крис!

— Что?

— Я люблю тебя.

Мне хотелось кричать.

Утро было красное. Воспаленный солнечный диск стоял низко над горизонтом. На пороге лежало письмо. Я надорвал конверт. Хэри была в душевой, я слышал, как она напевала. Время от

времени она высовывалась оттуда, поглядывая на меня сквозь мокрые волосы. Я подошел к иллюминатору и стал читать.

«Кельвин, дела идут неважно. Сарториус высказывается за решительные меры. Он надеется, что ему удастся дестабилизировать нейтринные системы. Для опытов ему нужно немного плазмы как исходного строительного материала образований Ф. Он предлагает тебе пойти на разведку и добыть некоторое количество плазмы. Поступай по своему усмотрению, но сообщи мне о своем решении. У меня нет никакого мнения. Пожалуй, у меня вообще уже ничего нет. Я предпочел бы, чтобы ты это сделал, хотя бы потому, что мы сдвинемся с места, пусть даже формально. Иначе останется только завидовать Г.

Мышонок.

P. S. Не входи в помещение радиостанции. Это все, что ты для меня еще можешь сделать. Лучше позвони».

С тяжелым сердцем я прочел письмо, внимательно перечитал его еще раз, порвал листок и

выбросил клочки в раковину. Потом я стал искать комбинезон для Хэри. Это было ужасно. Точь-в-точь как в прошлый раз. Но Хэри ничего не знала, иначе она так не обрадовалась бы, когда я сказал, что мне надо ненадолго отправиться за пределы Станции и я прошу ее сопровождать меня. Мы позавтракали в маленькой кухне (Хэри снова почти ничего не ела) и пошли в библиотеку.

Прежде чем выполнить поручение Сарториуса, я хотел посмотреть литературу по проблемам поля и нейтринных систем. Еще не представляя себе, как мне это удастся, я решил контролировать его работу. Мне пришло в голову, что не существующий пока нейтринный аннигилятор мог бы освободить Снаута и Сарториуса, а я переждал бы вместе с Хэри «операцию» где-нибудь снаружи — в летательном аппарате, например. Я довольно долго корпел над большим электронным каталогом, который в ответ на мои вопросы либо выбрасывал мне карточку с лаконичной надписью «в библиографии не значится», либо предлагал углубиться в такие дебри специальных физических трудов, что я не знал, как к ним подступиться. Мне не хотелось покидать большое круглое помещение с гладкими стенами, в которые были вмонтированы

выдвижные ящички с неисчислимым множеством микрофильмов и электронных записей. Расположенная в самом центре Станции, без единого иллюминатора, библиотека была самым изолированным помещением в стальной скорлупе. Не потому ли мне было здесь так хорошо, хотя поиски явно ни к чему не приводили? Я расхаживал по большому залу, пока не остановился перед огромным, до потолка, книжным шкафом. Это была не столько роскошь (впрочем, довольно сомнительная), сколько символ памяти, дань уважения пионерам солярийских исследований: полки, вмещавшие около шестисот томов, содержали всю классическую литературу предмета, начиная с монументальной, хотя и устаревшей в значительной степени, девятитомной монографии Гизе. Я доставал эти тяжеленные тома и лениво перелистывал их, присев на ручку кресла. Хэри тоже нашла себе какую-то книжку — я прочел несколько строк через ее плечо, — одну из немногих, оставшихся от первой экспедиции, кажется, чуть ли не от самого Гизе: «Межпланетный повар»... Видя, с каким вниманием Хэри изучает кулинарные рецепты, приспособленные к суровым космическим условиям, я молча вернулся к древнему фолианту, который лежал у

меня на коленях. Монография Гизе «Десять лет исследования планеты Солярис» вышла в серии «Труды по соляристике» в выпусках с четвертого по тринадцатый, а теперь очередные выпуски серии нумеруются четырехзначными числами.

Гизе обладал не слишком гибким умом, но гибкость ума может только повредить исследователю планеты Солярис. Пожалуй, нигде воображение и способность быстро создавать гипотезы не становятся столь пагубными, как здесь. В конце концов, на этой планете возможно все. Неправдоподобные описания плазматических «узоров», по всей вероятности, соответствуют истине, хотя проверить их обычно невозможно, поскольку Океан очень редко повторяется. Наблюдателя, впервые столкнувшегося с океаническими явлениями, поражают их исполинские размеры и совершенно чуждый всему земному характер. Происходи такое в маленькой лужице, все решили бы, что здесь простая «игра природы», еще одно проявление случайности и слепого взаимодействия сил. Перед неисчислимым разнообразием солярийских форм одинаково беспомощны и посредственность, и гений. Гизе не был ни тем ни другим. Педантичный приверженец систематики, он относился к той породе людей, у

которых под внешним бесстрастием кроется всепоглощающее, неистребимое трудолюбие. Гизе пытался все описывать, а когда ему не хватало слов, придумывал новые, часто неудачные, не раскрывавшие сути явлений. Впрочем, ни один термин не передает сущности происходящего на планете Солярис. «Городревы», «долгуны», «грибовики», «мимоиды», «симметриады» и «асимметриады», «хребетники» и «мелькальцы» звучат крайне неестественно, но все-таки дают хоть какое-то представление о Солярис даже тем, кто не видел ничего, кроме нечетких фотографий и весьма несовершенных фильмов. Разумеется, этот добросовестный систематик порой не удерживался в строгих рамках классификаций. Человек всегда выдвигает гипотезы, даже если не стремится к этому, даже бессознательно. Гизе полагал, что «долгуны» представляют собой исходную форму, и сопоставлял ее с многократно увеличенными и нагроможденными в несколько ярусов приливными волнами земных морей. Тот, кто знаком с первым изданием его труда, помнит, что сначала Гизе называл эту форму именно «приливами», под влиянием геоцентризма. Над таким определением можно было бы посмеяться, если бы оно не говорило о беспомощности

исследователя. Ведь эти образования размерами своими превосходят — если уж искать земные сравнения — Большой каньон Колорадо, причем их верхний слой — пенисто-студенистый (пена застывает огромными, ломкими фестонами, гигантскими кружевами — часть исследователей приняла их за «скелетовидные наросты»), а нижележащие слои становятся все более упругими, как сократившийся мускул, и мускул этот на глубине полутора десятков метров — тверже камня, но упругости не теряет. Между стенами, поверхность которых напоминает кожу на спине какого-то чудища и вся покрыта уцепившимися за нее «скелетами», тянется на целые километры сам «долгун», внешне самостоятельное образование, подобное гигантскому питону. Кажется, будто питон поглотил целиком несколько гор и переваривает их в молчании, вздрагивая время от времени. Но так «долгун» выглядит только сверху, с борта летательного аппарата. Если же опуститься на несколько сот метров, почти к самому дну «ущелья», видно: питон — протянувшаяся до самого горизонта полоса, где плазма движется с невероятной быстротой, отчего и возникает впечатление застывшего цилиндра. Сначала принимаешь это движение за круго-

вращение слизистой, серовато-зеленой массы, сверкающей на солнце, но у самой поверхности (откуда края «ущелья», где покоится «долгун», кажутся горными хребтами) заметно, что масса движется по гораздо более сложному принципу. Тут есть и концентрические окружности, и перекрестные течения более темных струй, и зеркальные участки верхнего слоя, отражающие небо и тучи. Временами на этих участках грохочут извержения смешанной с газами полужидкой среды. Постепенно понимаешь, что прямо перед тобой — центр действия сил, удерживающих поднявшиеся до небес студенистые стены, лениво застывающие в кристаллы. Но то, что очевидно для наблюдателя, не так-то просто для науки. Сколько лет тянулись непримиримые споры по поводу всего происходящего в «долгунах», миллионы которых бороздят необъятные просторы живого Океана. Их считали какими-то органами, полагая, что в них происходит обмен веществ, процессы дыхания и пищеварения и что-то еще, о чем помнят теперь лишь пыльные библиотечные полки. Каждая из этих гипотез была в конце концов опровергнута тысячами труднейших, а подчас и опасных опытов. А ведь речь идет только о «долгунах», о форме, в сущно-

сти, простейшей, наиболее устойчивой. Каждый из них «живет» в течение нескольких недель, что на планете Солярис вообще исключение!

Более сложная, капризная и вызывающая самый резкий (бессознательный, разумеется) протест наблюдателя форма — «мимоиды». Их без преувеличения можно назвать излюбленной формой Гизе. До конца своих дней он исследовал и описывал мимоиды, пытаясь разгадать их сущность. В названии Гизе пытался передать их самое удивительное, с человеческой точки зрения, свойство: определенную склонность подражать окружающим формам, независимо от того, где эти формы расположены — близко или далеко.

В один прекрасный день в глубине Океана начинает постепенно проступать плоский, широкий круг с рваными краями и смолисто-черной поверхностью. Спустя несколько часов на нем уже можно различить отдельные доли, он расчленяется и в то же время пробивается все ближе и ближе к поверхности. Наблюдатель готов поклясться, что там идет бешеная борьба: к мимоиду со всех сторон сбегаются бесконечные ряды кругообразных волн, похожих на жадные рты, на живые, готовые сомкнуться кратеры; волны гро-

моздятся над расплывчато темнеющим в глубине призраком и, становясь на дыбы, рушатся вниз. Каждый такой обвал тысячетонных громадин сопровождается длящимся целые секунды хлюпаньем, похожим на грохот, — масштабы всего происходящего чудовищны. Темное образование сползает вниз; очередной удар, кажется, вот-вот расплющит и расщепит его; доли диска повисают, как намокшие крылья, от них отрываются продолговатые гроздья, вытягиваются в длинные ожерелья, сливаются друг с другом и всплывают, увлекая за собой породивший их диск, а тем временем сверху в этот все резче очерченный круг попадают новые и новые кольца волн. И такое длится иногда день, а иногда — месяц. Порой все на этом кончается.

Добросовестный Гизе назвал этот вариант «незрелым мимоидом», словно он откуда-то узнал, что окончательная цель каждого подобного катаклизма — «зрелый мимоид», то есть та колония похожих на полипы блеклых наростов (обычно превосходящая целый земной город), предназначение которой — передразнивать внешние формы. Разумеется, нашелся другой солярист, по фамилии Юйвенс, признавший именно эту, последнюю фазу вырождением, от-

миранием, а образуемые формы — несомненным признаком освобождения «отростков» от воздействия исходного образования.

Описывая все остальные солярийские явления, Гизе напоминает муравья, очутившегося на замерзшем водопаде: не отвлекаясь, не обобщая, он кропотливо собирает и сухо излагает мельчайшие подробности. Но, говоря о мимоидах, он настолько уверен в себе и так увлекается, что выстраивает отдельные фазы появления мимоида по признаку все возрастающего совершенства.

Если смотреть на мимоид сверху, то он напоминает город, но это лишь иллюзия, вызванная поисками хоть какой-то аналогии. Когда небо безоблачно, все многоэтажные выросты и частоколы на их вершинах окружает слой нагретого воздуха, отчего формы, которые и так трудно определить, колеблются и расплываются. Первое же облачко в небесной лазури (я говорю так по привычке: «лазурь» во время красного дня — рыжая, а во время голубого — ослепительно белая) встречает немедленный отклик. Начинается бурное почкование. Вверх устремляется почти полностью отделившаяся от основания, тягучая, гроздевидная оболочка, она сразу же блекнет и спустя несколько минут делается необыкновенно

похожей на кучевое облако. Гигантский объект отбрасывает красноватую тень, одни вершины мимоида как бы передают его другим в направлении, противоположном движению настоящей тучи. По-моему, Гизе дал бы себе отрубить руку, чтобы узнать хоть одно: отчего так происходит. Но такие «одиночные» порождения мимоида — ничто по сравнению с бурной деятельностью, которую он развивает, будучи «раздражен» наличием предметов и форм, появляющихся над ним по вине пришельцев с Земли.

Мимоид воспроизводит буквально все, что находится на расстоянии, не превышающем восьми-девяти миль. Обычно мимоид, воспроизводя, увеличивает, а иногда искажает формы, образуя карикатуры или забавные упрощения, особенно если он «имеет дело» с механизмами. Разумеется, материалом служит всегда одна и та же быстро блекнущая масса, которая, будучи выброшена в воздух, не падает обратно, а повисает, соединенная легко рвущимися пуповинами с основанием; по основанию она и ползет, то сжимаясь, то набухая или раздуваясь, при этом незаметно появляются невообразимо сложные узоры. Летательный аппарат, решетчатая ферма или мачта воспроизводятся с одинаковой стре-

мительностью; мимоид не реагирует только на людей, а точнее, на живые организмы, в том числе и на растения — в экспериментальных целях неутомимые исследователи и растения доставили на планету Солярис. Зато муляжи — например, человека, собаки или дерева, — сделанные из любого материала, копируются немедленно.

И тут, к сожалению, нужно добавить, что столь исключительная на Солярис «покорность» мимоида экспериментаторами наблюдается не всегда. У самого зрелого мимоида бывают «ленивые дни», когда он только очень медленно пульсирует. Поскольку каждая фаза «пульса» продолжается более двух часов, пульсация незаметна. Открыть ее удалось лишь благодаря специальной киносъемке.

В такое время мимоид, особенно старый, может быть использован для пеших прогулок: и плавающий в Океане диск, и поднявшиеся из него выросты — надежная опора для пешеходов.

Можно, конечно, находиться на мимоиде и в его «рабочие» дни, но тогда видимость близка к нулю, так как из пузырчатых ответвлений копирующей оболочки все время сыплется пушистая, беловатая, как мелкий снег, коллоидная взвесь. Впрочем, вблизи воспроизведенные формы

невозможно охватить взглядом: по величине они подобны земным горам. К тому же нижняя часть «работающего» мимоида становится вязкой из-за слизистого дождя, лишь через несколько часов слизь застывает и превращается в твердую корку во много раз легче пемзы. И наконец, без соответствующего снаряжения нетрудно заблудиться в лабиринте пузатых отростков, напоминающих не то сжимающиеся и растягивающиеся колонны, не то полужидкие гейзеры. Заблудиться легко даже при солнечном свете, его лучи не могут пробить пелену, беспрестанно выбрасываемую в атмосферу «имитирующими взрывами».

Наблюдения за мимоидом в его счастливые дни (точнее говоря, в дни, счастливые для исследователя, находящегося над мимоидом) могут оставить неизгладимые впечатления. У мимоида бывает свой «творческий подъем», когда он выдает невиданную сверхпродукцию. Он то копирует внешние формы, то их усложняет или создает их «формальное продолжение» — и так может развлекаться часами, на радость художнику-абстракционисту и к полному отчаянию ученого, который напрасно пытается понять хоть что-нибудь из происходящего. Временами в деятельности мимоида проявляются черты

прямо-таки детского примитивизма, порой он впадает в «стиль барокко», тогда на всем, что им порождено, лежит отпечаток неуклюжего величия. Старые мимоиды нередко фабрикуют невероятно смешные формы. Правда, я никогда над ними не смеялся — таинственное зрелище слишком сильно поражало меня. Разумеется, в первые годы исследований все так и набросились на мимоиды. Их приняли за центры солярийского Океана, полагая, что именно тут произойдет долгожданный контакт двух разумов. Однако очень быстро выяснилось: ни о каком контакте не может быть и речи — все начинается с воспроизведения форм и кончается тем же.

Антропоморфизм (или зооморфизм) вновь и вновь проглядывал в отчаянных поисках исследователей, они усматривали в различных видоизменениях живого Океана то «органы чувств», то даже «конечность»; какое-то время ученые (например, Мартенс и Экконаи) принимали за конечности «хребетники» и «мелькальцы». Но эти протуберанцы живого Океана, вздымающиеся иногда на две мили в атмосферу, так же можно назвать конечностями, как землетрясение — гимнастикой земной коры.

Насчитывается около трехсот форм, повто-

ряющихся с относительным постоянством и порождаемых живым Океаном сравнительно часто. За сутки можно обнаружить несколько десятков или сотен их на поверхности. Самые «нечеловеческие», то есть абсолютно не похожие ни на что земное, формы, по утверждению школы Гизе, — это симметриады. Уже было хорошо известно, что Океан не агрессивен и погибнуть в плазматических глубинах может только очень неосторожный или беззаботный человек (конечно, не считая несчастных случаев, вызванных повреждением кислородного аппарата или кондиционера). Даже цилиндрические реки «долгунов» или чудовищные столбы «хребетников», бессмысленно раскачивающихся среди туч, можно насквозь пробить любым летательным аппаратом без всякой опасности — плазма уступает дорогу, раздвигаясь перед инородным телом, стремительно, со скоростью звука в солярийской атмосфере, открывая, если ее к этому вынудить, глубокие тоннели даже в толще Океана. С этой целью мгновенно затрачивается гигантская энергия (порядка 10^{19} эрг, по подсчетам Скрябина). И все-таки, начиная исследовать симметриады, ученые соблюдали чрезвычайную осторожность, то и дело отступая, придумывая все новые и но-

вые меры безопасности (нередко лишь мнимые), а имена тех, кто первым отправился в бездны симметриад, известны на Земле даже детям.

Хотя уже один вид этих исполинов может вызывать кошмарные сны, самое страшное в симметриадах вовсе не их вид. Ужас наводит скорее то, что в границах симметриад нет ничего постоянного и определенного, там не действуют даже физические законы. Именно исследователи симметриад настойчивее всех утверждали, что живой Океан разумен.

Симметриады возникают внезапно. Их порождает нечто вроде извержения. Приблизительно за час до рождения симметриады Океан начинает ослепительно блестеть, словно стекленея, на площади нескольких десятков квадратных километров. Но ни плавность, ни ритм волнообразования не меняются. Иногда симметриада возникает там, где была воронка после ушедшего в глубину «мелькальца», но так бывает далеко не всегда. Приблизительно через час стекловидная оболочка вздувается чудовищным пузырем, в котором отражаются небосклон, солнце, тучи, горизонт. Пузырь переливается всеми цветами радуги, игра красок напоминает вспышки молний — такого больше нигде не увидишь!

Самые сильные световые эффекты дают симметриады, возникающие во время голубого дня или перед самым заходом солнца. Тогда кажется, что из недр одной планеты рождается вторая, с каждым мгновением удваивающая свой объем. Пылающий ослепительным блеском шар, едва поднявшись из глубины, лопается, расщепляясь в верхней части на вертикальные секторы, но не распадается. Эта стадия, не совсем удачно названная «фазой цветочной чашечки», длится несколько секунд. Устремленные к небу перепончатые дуги поворачиваются, срастаются в невидимом чреве и молниеносно образуют нечто вроде коренастого торса, внутри которого происходят сотни явлений одновременно. В самом центре (впервые его исследовала экспедиция Гамалеи в составе семидесяти человек) складывается из гигантских поликристаллов осевой несущий стержень. Его называют иногда «позвоночником» (этот термин мне не кажется удачным). Головокружительные переплетения центральной опоры поддерживаются в момент образования бьющими из километровых провалов вертикальными столбами жидкого, почти водянистого студня. При этом исполин производит глухой, протяжный гул, а вокруг вздымается

вал бешено плещущей, снежной, крупноячеистой пены. Потом начинается необычайно сложное вращение (от центра к внешним границам) утолщенных плоскостей, на них наслаиваются поднимающиеся из глубины отложения тягучей массы, одновременно гейзеры, о которых я только что говорил, застывают, густея, и превращаются в подвижные, похожие на щупальца, колонны, пучки их устремляются в совершенно определенные места, повинуясь динамике всего сооружения, и теперь напоминают вздымающиеся до небес жабры гигантского зародыша, растущего с невероятной быстротой; в «жабрах» струится розовая кровь и темно-зеленая, почти черная вода. С этого момента симметриады начинают проявлять свое самое необыкновенное свойство — способность преобразовывать или даже приостанавливать действие некоторых физических законов. Отметим прежде всего, что нет двух одинаковых симметриад, и геометрия каждой из них — новое «изобретение» живого Океана. Далее — симметриада производит внутри себя то, что часто называют «машинами мгновенного действия», хотя эти образования ничуть не похожи на наши машины (имеется в виду довольно узкая, а тем самым как бы механи-

ческая направленность действия).

Когда бьющие из бездны гейзеры застынут или вздуются, став толстыми стенами галерей и коридоров, идущих во всех направлениях, а «пленки» образуют систему пересекающихся плоскостей, навесов, сводов, симметриада начинает оправдывать свое название: каждому хитросплетению пролетов, ходов и склонов у одного полюса соответствует точно такое же хитросплетение у противоположного.

Минут через двадцать — тридцать гигант начинает медленно погружаться, иногда отклоняясь от вертикальной оси на восемь — двенадцать градусов. Бывают симметриады большие и малые, но даже «карлики» вздымаются метров на восемьсот над уровнем Океана и видны на расстоянии доброго десятка миль. Безопаснее всего пробираться внутрь симметриады сразу же, как только прекратится погружение и восстановится равновесие, а ось симметриады вновь совпадет с вертикалью. Удобнее всего — область чуть пониже вершины. Довольно гладкую полярную «шапку» окружает там пояс, изрешеченный устьями внутренних камер и проходов. В целом симметриада представляет собой пространственное воплощение некоего необычайно сложного

уравнения.

Как известно, каждое уравнение можно выразить геометрическим языком, построив соответствующую этому уравнению пространственную фигуру. В таком понимании симметриада родственна плоскости Лобачевского и отрицательной Римановой кривизне. Но родство это — весьма дальнее из-за неописуемой сложности симметриады. Симметриада представляет собой занимающее несколько кубических миль воплощение целой математической системы, причем воплощение четырехмерное; само время претерпевает изменения в симметриадах.

Проще всего, конечно, предположить, что перед нами не что иное, как «математическая машина» живого Океана, модель расчетов, необходимых ему в каких-то неведомых нам целях, но эту гипотезу Фермона сегодня уже никто не поддерживает. Она весьма соблазнительна, но представление о том, что с помощью таких титанических извержений, где каждая частица подчинена непрерывно усложняющимся формулам математического анализа, живой Океан задается вопросами материи, космоса, бытия, просуществовало недолго. Слишком много явлений, происходящих в симметриаде, противо-

речит такой простой, в сущности (и даже детски наивной, по словам некоторых), интерпретации.

Были попытки найти какую-нибудь доступную наглядную аналогию. Достаточно популярно объяснение Аверяна, предложившего такое сравнение: представим себе древнейшее земное сооружение времен расцвета Вавилона, воздвигнутое из живого, возбудимого, развивающегося вещества; архитектоника его плавно проходит ряд переходных фаз, принимая у нас на глазах формы греческой и романской архитектуры, затем колонны становятся тонкими, как стебель, свод делается невесомым, устремляется вверх, арки превращаются в крутые параболы, потом заостряются, как в готике. Готика достигает совершенства, потом устаревает, ее строгость сменяется оргией пышных форм, на наших глазах расцветает причудливое барокко. Постепенно, переходя вместе с нашим живым сооружением от одного стиля к другому, мы придем к архитектуре космической эпохи. Представив себе все это, мы хоть чуть-чуть приблизимся к пониманию того, что такое симметриада.

Но такое сравнение, хотя его развивали и обогащали, пытаясь даже проиллюстрировать специальными моделями и фильмом, в лучшем

случае — доказательство нашего бессилия, в худшем — попытка уйти от проблемы, а может, просто ложь — ведь симметриада не похожа ни на что земное...

Человек может воспринять сразу совсем немногое; мы видим лишь то, что происходит перед нами, здесь, теперь; не в наших силах представить себе множество одновременно происходящих процессов, пусть даже взаимосвязанных и дополняющих друг друга. Это относится даже к сравнительно простым явлениям. История одного человека может иметь очень большое значение, историю нескольких сотен трудно проследить, а истории тысячи или миллиона не значат, в сущности, ничего. Симметриада — миллион или даже миллиард, возведенный в степень бесконечности, симметриада — сама невообразимость. Мы стоим в одном из ее закоулков — в удесятеренном пространстве Кронеккера, — словно муравьи, замершие на живом своде, перед нами — возносящиеся вверх плоскости, тускло мерцающие в лучах наших осветительных ракет, мы наблюдаем их взаимопроникновение, плавность и безупречное совершенство, и все это — лишь момент, ибо главное здесь — движение, сосредоточенное и целенаправленное. Мы ви-

дим лишь отдельное колебание одной струны в симфоническом оркестре сверхгигантов и знаем — но только знаем, а не понимаем, — что одновременно над нами и под нами, в стрельчатых безднах, за пределами зрения и воображения происходят тысячи и миллионы преобразований, связанных между собой, как ноты, математическим контрапунктом. Кто-то назвал симметриаду геометрической симфонией, но в таком случае нас надо назвать ее глухими слушателями.

Чтобы разглядеть здесь хоть что-нибудь, надо было бы отойти, отступить в неизмеримую даль, но ведь в симметриаде все — внутренность, размножение, лавины рождений, непрерывное формирование, причем то, что формируется, само формирует. Никакая мимоза не откликнется так чутко на прикосновение, как откликается отстоящая на много миль и на сотни ярусов от нас часть симметриады на перемены, происходящие в том месте, где мы стоим. Каждая существующая одно мгновение конструкция сама конструирует все остальные и дирижирует ими, а они в свою очередь воздействуют на нее. Да, это симфония, но такая, которая сама себя создает и сама себя заглушает.

Конец симметриады ужасен. Когда его видишь,

кажется, что становишься свидетелем трагедии, а может, даже убийства. Спустя два-три часа — столько продолжается буйство разрастания, увеличения, самосоздания — живой Океан переходит в атаку: гладкая поверхность морщится, успокоившийся уже, покрытый засохшей пеной прибой закипает; от горизонта мчатся ряды концентрических волн, таких же мускулистых кратеров, как те, что сопровождают рождение мимоида, но на сей раз они неизмеримо больше. Погруженная часть симметриады вытесняется, колосс медленно поднимается вверх, словно извергаемый за пределы планеты, верхние слои Океана активизируются, взбираются все выше на боковые стены, застывают на них, замуровывают отверстия, но все это — ничто по сравнению с происходящим в глубине симметриады. Сначала формообразовательные процессы — самосоздание и самопреобразование архитектоники — застывают ненадолго, а потом бешено ускоряются. Движения, до сих пор плавные, мерные, такие уверенные, словно им предстояло продолжаться веками, приобретают головокружительную быстроту. Возникает гнетущее впечатление, будто колосс перед лицом грозящей ему опасности стремится что-то успеть. Но чем быстрее происхо-

дят перемены, тем очевиднее делается ужасное, омерзительное перерождение самого материала и его динамики. Стрельчатые пересечения изумительно гибких плоскостей провисают, становятся мягкими, дряблыми; появляются незаконченные, уродливые, искалеченные формы; из невидимых глубин доносится, нарастая, шум, рев, выбрасываемый в предсмертных муках воздух извлекает из гигантских глоток, пролетов и сводов, затянутых слизью, чудовищные стоны и хрипы; чувствуется, как вокруг все умирает, несмотря на головокружительное движение. Это движение — уничтожающее. И вот уже только ураган, воющий в бездонных колодцах, поддерживает, раздувая, исполинское сооружение; оно начинает оползать, таять, как охваченные пламенем соты; кое-где еще видны последние содрогания, беспомощный трепет; потом, беспрестанно атакуемый снаружи, подмытый волнами, исполин медленно опрокидывается и исчезает в таком же водовороте пены, из какого он родился.

И как это все объяснить? Вот именно — как объяснить?..

Помню, одна школьная экскурсия осматривала Институт соляристики в Адене. Я был тогда ассистентом Гибаряна. Через боковой зал библиотеки

школьников провели в главное помещение, в основном занятое под хранилище микрофильмов. На пленках запечатлены незначительные фрагменты внутренности симметриад, конечно давно уже не существующих. А всего там — не отдельных кадров, а целых бобин с пленкой — свыше девяноста тысяч. И вот пухленькая девчушка лет пятнадцати, решительно и пытливо глядя сквозь очки, спросила:

— А зачем все это?..

Наступило неловкое молчание. Учительница строго посмотрела на своевольную ученицу, а мы, соляристы-экскурсоводы (я тоже был там), не смогли ответить.

Симметриады неповторимы, и, как правило, не повторяются происходящие в них процессы. Иногда воздух перестает проводить в них звук, порой увеличивается или уменьшается коэффициент преломления. В некоторых местах притяжение ритмично пульсирует, словно у симметриады начинает биться гравитационное сердце. Порой наши гирокомпасы просто безумствуют; в некоторых местах возникает и исчезает повышенная ионизация. Можно назвать еще многое. Впрочем, если даже загадка симметриад будет разрешена, останутся еще асимметриады...

Они возникают таким же образом, но конец у них — иной. В них ничего нельзя различить: все в них дрожит, пылает, мелькает. Мы знаем лишь одно: асимметриады — очаги процессов, скорость которых лежит на грани физически возможных величин; иногда асимметриады называют «гигантскими квантовыми явлениями». Математическое сходство асимметриад с моделями определенных атомов столь непостоянно и мимолетно, что некоторые считают его второстепенным или даже случайным признаком. Асимметриады живут гораздо меньше, чем симметриады, — не более двадцати минут, а гибель их еще страшнее: вслед за ураганом, который с оглушительным грохотом наполняет и взрывает их, на месте асимметриад с немыслимой скоростью вздымается бурлящая, омерзительная жидкость. Клубясь под слоем грязной пены, она затопляет все, а затем происходит взрыв, похожий на извержение грязевого вулкана: он выбрасывает столб измочаленных останков, которые долго еще падают на неспокойную поверхность Океана. Ветер разносит эти куски, высохшие, желтоватые, плоские, напоминающие окостеневшие перепонки или пленчатые хрящи. Их можно потом найти на волнах за много десят-

ков километров от очага взрыва.

Отдельную группу составляют образования, полностью отделяющиеся от живого Океана на более или менее длительное время. Они встречаются значительно реже, и их гораздо труднее заметить. Когда впервые были обнаружены оставшиеся от них куски, ученые сочли, совершенно ошибочно, как выяснилось значительно позже, что это останки жителей океанских глубин. Иногда кажется: образования пытаются спастись бегством, как странные многокрылые птицы, от преследования «мелькальцев». Но это земное сравнение ничего не раскрывает. Временами — очень редко — на скалистых берегах островов можно заметить странные силуэты, похожие не то на тюленей, не то на пингвинов. Они стадами греются на солнце или лениво сползают в море, чтобы слиться с ним в одно целое.

Исследователи все никак не могли вырваться из заколдованного круга земных понятий, а первый контакт...

Экспедиции преодолели сотни километров в глубины симметриад, расставили регистрирующие приборы, автоматические кинокамеры; телепередатчики искусственных спутников фиксировали почкования мимоидов и «долгунов», их

созревание и отмирание. Заполнялись библиотеки, росли архивы. За это не раз приходилось очень дорого платить. Семьсот восемнадцать человек погибли в катаклизмах, не успев выбраться из приговоренных к гибели гигантов, причем сто шесть — только в одной катастрофе, широко известной, — в ней погиб и сам Гизе, в то время уже семидесятилетний старик. Гибель, обычно свойственная асимметриадам, постигла образование, представлявшее собой четко выраженную симметриаду. Семьдесят девять человек в бронированных скафандрах, машины и приборы гигантский грязевой фонтан уничтожил в считанные секунды, сбив своими струями и двадцать семь пилотов, круживших на летательных аппаратах над местом исследований. Это место — на пересечении сорок второй параллели с восемьдесят девятым меридианом — отмечено на картах как «Извержение ста шести». Но только на картах — на поверхности Океана не осталось и следа.

Тогда впервые за всю историю соляристики раздались голоса, требовавшие нанести термоядерный удар. В сущности, это было бы безжалостнее всякой мести: хотели уничтожить то, чего не могли понять. Цанкен, заместитель начальника

резервной группы Гизе (благодаря ошибке передающего автомата, неверно обозначившего координаты места исследований, он уцелел, заблудившись над Океаном, и прибыл на место буквально через несколько минут после взрыва — подлетая, он еще увидел черный гриб), когда обсуждался вопрос, пригрозил взорвать Станцию вместе с собой и восемнадцатью оставшимися на ней. Хотя в официальных источниках не сказано, что этот ультиматум повлиял на результат голосования, вероятно, было именно так.

Но времена столь крупных экспедиций на планету давно миновали. Саму Станцию создавали, наблюдая за ее строительством со спутников. Земля могла бы гордиться масштабами инженерного сооружения, если бы Океан не порождал за несколько секунд конструкции, превосходившие по величине Станцию в миллионы раз. Станция представляет собой диск диаметром в двести метров, четырехъярусный в центре и двухъярусный по краям. Она парит на высоте от пятисот до тысячи пятисот метров над Океаном благодаря гравитаторам, работающим на энергии аннигиляции, и снабжена, кроме оборудования, какое обычно бывает на Станциях и больших Сателлоидах, специальными радарными установками,

готовыми при первом изменении океанской глади включить дополнительные мощности, и, как только появляются предвестники рождения нового живообразования, стальной диск взмывает в стратосферу.

Теперь Станция почти безлюдна. С тех пор как роботы были заперты — по неизвестной мне причине — в нижних трюмах, можно кружить по коридорам, не встречая никого, как на дрейфующем корабле, машины которого пережили погибший экипаж.

Когда я поставил девятый том монографии Гизе на полку, мне показалось, что сталь, покрытая толстым слоем пористого пенопласта, задрожала под ногами. Я насторожился, но вибрация не повторилась. Библиотека была прекрасно изолирована от всего корпуса, и вибрация могла возникнуть только по одной причине — со Станции стартовала ракета. Эта мысль вернула меня к действительности. Я еще не знал, полечу ли я, как того хотел Сарториус. Ведя себя так, словно я целиком разделяю его планы, я мог в лучшем случае оттянуть столкновение; я был почти уверен, что дело дойдет до стычки, поскольку решил сделать все, что в моих силах, чтоб спасти Хэри. Самое главное, есть ли у Сарториуса шансы на

успех. У него было огромное преимущество — как физик он разбирался в этой проблеме в десять раз лучше меня; я мог, как ни парадоксально, рассчитывать лишь на безукоризненность решений, которые преподносил нам Океан.

Потом я час корпел над микрофильмами, пытаясь выловить что-нибудь разумное из моря проклятой математики, на языке которой говорила физика нейтринных процессов.

Вначале мне казалось это безнадежным, тем более что неимоверно трудных теорий нейтринного поля было пять — явное доказательство их несовершенства. В конце концов мне удалось найти кое-что обнадеживающее. Я выписывал формулы, когда в дверь постучали.

Я быстро подошел к двери и открыл ее, загораживая своим телом вход. Показалось блестевшее от пота лицо Снаута. В коридоре больше никого не было.

— А, это ты, — сказал я, широко распахивая дверь. — Входи.

— Да, это я, — ответил Снаут.

Голос у него охрип, глаза покраснели, под ними появились мешки. На Снауте был блестящий резиновый антирадиационный фартук на эластичных подтяжках; из-под фартука виднелись

грязные штанины брюк, в которых он всегда ходил. Его глаза, обежав круглый, залитый светом зал, остановились, когда он заметил в глубине стоящую возле кресла Хэри. Мы быстро обменялись взглядами; я опустил веки; тогда Снаут поклонился, а я любезным тоном произнес:

— Это доктор Снаут, Хэри. Снаут, это... моя жена.

— Я... член экипажа... меня трудно встретить и поэтому... — Пауза опасно затянулась. — У меня не было возможности познакомиться...

Хэри улыбнулась и протянула ему руку, он пожал ее, как мне показалось, несколько ошарашенный, поморгал и уставился на Хэри. Я положил руку на его плечо.

— Извините, — сказал Снаут, обращаясь к Хэри. — Я хотел бы поговорить с тобой, Кельвин...

— Пожалуйста, — ответил я с великосветской непринужденностью; все несколько напоминало фарс, но делать было нечего. — Хэри, дорогая, мы тебе не помешаем? Нам с доктором надо обсудить наши скучные дела.

Я за локоть подвел Снаута к маленьким креслам на противоположной стороне зала. Хэри уселась в кресло, на котором я только что сидел, подвинув его так, что, подняв голову от книги,

могла нас видеть.

— Как дела? — тихо спросил я.

— Я развелся, — ответил он свистящим шепотом. Если бы мне когда-нибудь рассказали эту историю и передали такое начало разговора, я рассмеялся бы, но на Станции мое чувство юмора атрофировалось.

— Кельвин, со вчерашнего дня я прожил несколько лет. И каких лет! А ты?

— Я — ничего... — помедлив, ответил я, не зная, что говорить.

Я хорошо относился к Снауту, но чувствовал, что мне сейчас надо остерегаться его, вернее, того, что он собирается мне сказать.

— Ничего? — переспросил Снаут. — Ах, даже так?

— Что ты имеешь в виду?

Я сделал вид, будто не понимаю его.

Снаут сощурил покрасневшие глаза и, наклонившись ко мне так близко, что я ощутил на лице его дыхание, зашептал:

— Мы завязли, Кельвин. С Сарториусом уже нельзя связаться. Я знаю только то, что написал тебе и что он мне сказал после нашей распрекрасной конференции...

— Он отключил видеофон? — спросил я.

— Нет, у него короткое замыкание. Кажется, он сделал его нарочно, или... — Снаут взмахнул кулаком, будто разбивая что-то.

Я молча смотрел на него. Левый уголок губ приподнялся у него в неприятной усмешке.

— Кельвин, я пришел потому... — Он не договорил. — Что ты собираешься делать?

— Ты имеешь в виду то письмо? — медленно проговорил я. — Сделаю, не вижу причины отказываться, поэтому и сижу здесь, я хочу разобраться...

— Нет, — прервал он меня, — я не о том...

— О чем?.. — спросил я с наигранным удивлением. — Я слушаю.

— Сарториус, — буркнул он, — ему кажется, он нашел путь... знаешь...

Снаут не спускал с меня глаз. Я сидел спокойно, стараясь сохранять равнодушное выражение лица.

— Прежде всего, та история с рентгеном. То, что делал с ним Гибарян, помнишь. Возможна определенная модификация...

— Какая?

— В Океан посылали просто пучок лучей и модулировали только их мощность по определенным формулам.

— Да, я знаю об этом. Нилин уже так делал. И многие другие.

— Да, но они использовали мягкое излучение. А тут было жесткое, мы колошматили Океан, как могли, всей мощностью.

— Могут быть неприятности, — заметил я. — Нарушение Конвенции Четырех и ООН.

— Кельвин... Не притворяйся. Какое теперь это имеет значение? Гибаряна нет в живых.

— А Сарториус хочет свалить все на него?

— Понятия не имею. Я с ним об этом не говорил. Неважно. Сарториус считает, если «гости» всегда появляются, когда мы просыпаемся, значит Океан выуживает из нас рецепт производства во время сна. Океан полагает, что самое важное наше состояние — сон, и именно поэтому так поступает. Сарториус хочет послать ему наши мысли, мысли наяву — понимаешь?

— Каким образом? По почте?

— Шутки ты пошлешь сам, отдельно. Этот пучок лучей будет модулироваться биотоками мозга одного из нас.

Наконец-то я кое-что понял.

— А, — сказал я. — Один из нас — это я! Да?

— Да. Он думал о тебе.

— От души благодарю.

— Что ты на это скажешь?

Я ничего не ответил. Снаут молча посмотрел сначала на поглощенную чтением Хэри, потом на меня. Я почувствовал, как бледнею, но не мог с собой справиться.

— Ну как?.. — спросил Снаут. Я пожал плечами.

— Эти рентгеновские проповеди о совершенстве человека я считаю глупостью. И ты тоже. Может, не так?

— Так?..

— Так.

— Очень хорошо, — сказал Снаут и улыбнулся, будто я оправдал его ожидания. — Значит, ты против затеи Сарториуса?

Я еще не сообразил, каким образом, но он добился своего — я прочел это в его взгляде. Что я мог теперь сказать?

— Прекрасно, — произнес Снаут. — Есть и второй проект. Перестроить аппарат Роша.

— Аннигилятор?..

— Да. Предварительные расчеты у Сарториуса уже готовы. Это реально. И даже не потребуется большой мощности. Установка может работать круглосуточно, неограниченное время, создавая антиполе.

— По... постой! Как это, по-твоему, будет вы-

глядеть?

— Очень просто. Это будет нейтринное антиполе. Обыкновенная материя остается без изменения. Уничтожаются только... нейтринные системы. Понимаешь?

Снаут удовлетворенно улыбался. Я сидел оглушенный. Он перестал улыбаться, испытующе смотрел на меня, наморщив лоб, и ждал.

— Первый проект — «Мысль» — отбрасываем. А второй? Сарториус им уже занимается. Проект назовем «Свобода».

Я на минуту закрыл глаза. Неожиданно пришло решение. Снаут — не физик. Сарториус выключил или разбил видеофон. Прекрасно!

— Я бы назвал проект «Бойня»... — медленно проговорил я.

— Не разыгрывай из себя святого. Теперь все будет иначе. Никаких «гостей», никаких образований Ф — ничего. В момент материализации наступает распад.

— Это недоразумение, — улыбнулся я, покачав головой; я надеялся, что моя улыбка выглядит естественно. — Снаут, это не угрызения совести, а только инстинкт самосохранения. Я не хочу умирать.

— Что?..

Снаут растерялся. Он подозрительно глядел на меня. Я достал из кармана помятый листочек с формулами.

— И я думал об этом. Ты удивлен? Ведь я первый выдвинул нейтринную гипотезу. Так? Посмотри. Антиполе можно возбудить. Для обыкновенной материи оно не опасно. Это правда. Но в момент дестабилизации, когда нейтринная система распадается, освобождается избыточная энергия связи. Если на каждый килограмм покоящейся массы приходится десять в восьмой степени эрг, то на каждый объект Ф — от пяти до семи на десять в восьмой эрг. Ты представляешь себе, что это такое? Небольшой урановый взрыв внутри Станции.

— Что ты говоришь? Но... но Сарториус должен это учитывать...

— Не обязательно, — возразил я с ехидной усмешкой. — Видишь ли, Сарториус принадлежит к школе Фрезера и Кайоллы. По их теории, вся энергия связи в момент распада освобождается в виде светового излучения. Это была бы просто очень яркая вспышка, может не совсем безопасная, но не разрушительная. Существуют, однако, другие гипотезы, другие теории нейтринного поля. По Кайатту, по Авалову, по Сионе,

диапазон излучения значительно шире, а максимум приходится на жесткое гамма-излучение. Хорошо, что Сарториус верит своим учителям и их теориям, но есть и другие теории, Снаут. Послушай, что я тебе скажу... — Я видел, что мои слова производят на него впечатление. — Надо принять во внимание и Океан. Если он сделал то, что сделал, то, конечно, использовал оптимальный метод. Иначе говоря, его действия мне кажутся аргументами в пользу второй школы, а не в пользу Сарториуса.

— Дай мне твои записи, Кельвин...

Я протянул ему листок. Снаут наклонил голову, пытаясь прочитать мои каракули.

— Что это? — показал он пальцем. Я взял у него листок.

— Это? Тензор трансмутации поля.

— Дай мне листок...

— Зачем? — спросил я, зная, что он ответит.

— Я должен показать его Сарториусу.

— Как хочешь, — равнодушно ответил я. — Могу тебе дать. Только учти, экспериментально этого никто не проверял. Такие системы еще не были известны. Сарториус верит Фрезеру, а я рассчитывал по Сионе. Я не физик, и Сиона тоже не физик. По крайней мере, с точки зрения Сарториуса. Но

это вопрос дискуссионный. А я не жажду дискуссии, в результате которой я могу испариться во славу Сарториуса. Тебя можно убедить, его — нет. И не буду стараться.

— Что ты хочешь сделать?.. Он работает над этим, — бесцветным голосом сообщил Снаут.

Он сгорбился, все его оживление исчезло. Я не знал, доверяет ли он мне, но мне уже было все равно.

— То, что делает человек, когда его пытаются убить, — тихо ответил я.

— Я попробую связаться с ним. Может, он думает о каких-то мерах безопасности, — пробормотал Снаут. Он посмотрел на меня. — Послушай, а если все же?.. Первый проект, а? Сарториус согласится. Безусловно. Во всяком... во всяком случае... какая-то возможность.

— Ты веришь?

— Нет... Но... это ведь не помешает...

Мне не хотелось слишком быстро соглашаться, чтобы не показать, как важно для меня, что Снаут становится моим союзником. Теперь мы могли вместе затягивать дело.

— Надо подумать, — сказал я.

— Я пойду, — буркнул Снаут, вставая.

У него хрустнули суставы, когда он поднимался

с кресла.

— Так ты позволишь снять с себя энцефалограмму? — спросил Снаут, вытирая пальцами фартук, словно пытался стереть невидимое пятно.

— Хорошо, — согласился я.

Не обращая внимания на Хэри (она наблюдала за этой сценой молча, держа книгу на коленях), Снаут подошел к двери. Когда она закрылась за ним, я встал. Я расправил листок, который держал в руке. Формулы были настоящие, я их не подделал. Не знаю только, признал ли бы Сиона правильными мои выводы. Вероятно, нет. Я вздрогнул. Хэри подошла ко мне сзади и коснулась моего плеча.

— Крис!

— Что, дорогая?

— Кто это был?

— Я говорил тебе. Доктор Снаут.

— Что он за человек?

— Я плохо его знаю. Почему ты спрашиваешь?

— Он так смотрел на меня...

— Вероятно, ты ему понравилась.

— Нет, — покачала она головой. — Он смотрел на меня иначе. Так... словно...

Ей было явно не по себе. Она подняла на меня глаза и тут же опустила их.

— Идем отсюда куда-нибудь...

Жидкий кислород

Я лежал в темной комнате, тупо уставившись в светящийся циферблат на запястье. Сколько это тянулось, не знаю. Я прислушивался к собственному дыханию и чему-то удивлялся. Состояние странного безучастия я приписывал усталости. Я повернулся на бок, койка была необычно широкой, мне чего-то не хватало. Я затаил дыхание. Наступила полная тишина. Я замер. Ни малейшего шороха. Хэри? Почему я не слышу ее дыхания? Я провел руками по постели. Хэри не было.

«Хэри», — хотел позвать я, но услышал шаги.

Кто-то шел, высокий и грузный, как...

— Гибарян? — спокойно спросил я.

— Да, это я. Не зажигай света.

— Не зажигать?

— Не надо. Так будет лучше для нас обоих.

— Но ведь тебя нет в живых?

— Это не важно. Ты узнаешь мой голос?

— Да. Почему ты это сделал?

— Так было нужно. Ты опоздал на четыре дня. Если бы ты прилетел раньше, может быть, в этом не было бы необходимости. Не мучайся угрызе-

ниями совести. Мне совсем неплохо.

— Ты действительно здесь?

— А ты думаешь, что видишь меня во сне, как думал о Хэри?

— Где она?

— Откуда ты взял, что я знаю?

— Я догадался.

— Не стоит говорить об этом. Допустим, что я здесь вместо нее.

— Но я хочу, чтобы она тоже была.

— Это невозможно.

— Почему? Послушай, ты ведь знаешь, что на самом деле это не ты, а я?

— Нет, это на самом деле я. Точнее — я, повторенный еще раз. Но мы попусту тратим время.

— Ты уйдешь?

— Да.

— И тогда она вернется?

— Для тебя это важно? Она для тебя много значит?

— Это мое дело.

— Ты же боишься ее.

— Нет.

— И брезгуешь...

— Что тебе надо от меня?

— Жалеть нужно себя, а не ее. Ей всегда будет

двадцать лет, не притворяйся, будто ты не знаешь об этом!

Неожиданно я успокоился. Я слушал Гибаряна без волнения. Мне показалось, что он стоит теперь ближе, в ногах, но я по-прежнему ничего не видел в темноте.

— Что же тебе нужно? — спросил я тихо. Мой тон, пожалуй, удивил его. Он помолчал.

— Сарториус объяснил Снауту, что ты обманул его. Теперь они тебя обманут. Под видом монтажа рентгеновской установки они строят аннигилятор поля.

— Где она? — спросил я.

— Ты что, не слышишь, что я тебе сказал? Я предупредил тебя!

— Где она?

— Не знаю. Учти: тебе понадобится оружие. Рассчитывать тебе не на кого.

— Я могу рассчитывать на Хэри, — произнес я. Раздался тихий смешок Гибаряна.

— Конечно, можешь. До известного предела. В конце концов, ты всегда можешь поступить, как я.

— Ты не Гибарян.

— Извини. А кто же? Может быть, твое сновидение?

— Нет. Ты кукла. Но ты об этом не знаешь.

— А ты знаешь, кто *ты*?

Его слова меня озадачили. Я хотел встать, но не мог. Гибарян что-то говорил. Слов я не разбирал, слышал только звук его голоса, отчаянно боролся со слабостью, еще раз рванулся изо всех сил и... проснулся. Я ловил ртом воздух, как рыба на песке. Было очень темно. Это сон. Кошмар. Минутку... «...дилемма, которую мы не сможем разрешить. Мы преследуем самих себя. Политерии применили только подобие избирательного усилителя наших мыслей. Поиски мотивов этого явления — антропоморфизм. Где нет человека, там нет доступных для него мотивов. Чтобы продолжать исследования, необходимо уничтожить либо собственные мысли, либо их материальную реализацию. Первое — не в наших силах. Второе слишком напоминает убийство».

В темноте я прислушивался к размеренному далекому голосу, интонацию которого я сразу узнал. Говорил Гибарян... Я протянул руки. На постели никого не было.

Мне снится, что я проснулся, подумал я.

— Гибарян?.. — позвал я.

Голос оборвался тут же на полуслове. Что-то щелкнуло, я ощутил на лице слабое дуновение.

— Ну что же ты, Гибарян, — пробурчал я зевая. — Преследовать в одном сне, в другом — это уже слишком...

Что-то прошуршало возле меня.

— Гибарян! — повторил я громче. Пружины койки дрогнули.

— Крис... это я, — раздался шепот возле меня.

— Это ты, Хэри... а Гибарян?

— Крис, Крис... ведь его нет... ты сам говорил, что его нет в живых...

— Во сне все может быть, — сказал я медленно. Теперь я не был уверен, что видел сон. — Он говорил что-то, был здесь, — произнес я.

Мне ужасно хотелось спать. Если так хочется спать, то я сплю, мелькнула дурацкая мысль. Я коснулся губами холодного плеча Хэри и улегся поудобнее. Она что-то ответила мне, но я уже погрузился в забытье.

Утром в залитой красным светом комнате я вспомнил, что произошло ночью. Разговор с Гибаряном приснился мне, а что было потом? Я слышал его голос, в этом я мог бы поклясться, но точно не помню, о чем он говорил. Вернее, не говорил, а читал лекцию. Лекцию?..

Хэри купалась. Слышен был шум воды в душевой. Я заглянул под койку, куда несколько дней

назад закинул магнитофон. Его там не было.

— Хэри! — крикнул я.

Ее лицо, залитое водой, показалось из-за шкафа.

— Хэри, ты не видела под койкой магнитофон? Маленький, карманный...

— Там лежало много вещей. Я все сложила туда. — Она показала на полку с лекарствами возле аптечки и исчезла в душевой.

Я вскочил с койки и пошарил там, но ничего не нашел.

— Ты не могла его не заметить, — сказал я, когда Хэри вернулась в комнату.

Она молча причесывалась перед зеркалом. Только теперь я заметил, какая она бледная. Ее глаза в зеркале смотрели на меня настороженно.

— Хэри, — упрямо, как осел, начал я снова, — магнитофона на полке нет.

— Тебе больше нечего мне сказать?..

— Прости, — буркнул я, — ты права, это глупости...

Не хватало еще, чтобы мы стали ссориться!

Потом мы пошли завтракать. Хэри делала все не так, как обычно, но я не мог уловить, в чем разница. Она присматривалась ко всему, порой не слыша, что я ей говорю, поглощенная своими

мыслями. Я заметил, что глаза у нее блестят.

— Что с тобой? — шепотом спросил я. — Ты плачешь?

— Ох, оставь меня в покое. Это ненастоящие слезы, — прошептала Хэри.

Вероятно, надо было выяснить все до конца, но я больше всего на свете боюсь «откровенных разговоров». Меня занимало совсем другое. Хотя я и знал, что интриги Снаута и Сарториуса мне только приснились, я начал размышлять, есть ли вообще на Станции какое-нибудь удобное оружие. Зачем оно мне, я не думал, — просто хотелось его найти. Я сказал Хэри, что должен пойти в трюм и на склады. Она молча пошла со мной. Я рылся в ящиках, обшаривал контейнеры, а когда спустился в самый низ, не смог побороть желания заглянуть в холодную камеру. Мне не хотелось, однако, чтобы Хэри входила туда, поэтому я только приоткрыл дверь и обвел глазами все помещение. Под темным покровом по-прежнему вырисовывались очертания трупа, но с того места, где я стоял, нельзя было рассмотреть, лежит ли там еще чернокожая. Мне показалось, что ее нет.

Я продолжал бродить, так и не обнаружив ничего подходящего. Настроение все больше и

больше портилось. Неожиданно я заметил, что рядом со мной нет Хэри. Впрочем, она тут же пришла — задержалась в коридоре, но уже одно то, что Хэри пыталась отдалиться — а ведь ей стоило такого труда оставить меня хоть на секунду, — должно было насторожить меня. Я по-прежнему разыгрывал из себя обиженного, короче, вел себя самым дурацким образом. Разболелась голова, я не мог найти никаких порошков и, злой, как сто чертей, перевернул вверх дном всю аптечку. В операционную идти не хотелось, и вообще у меня ничего не клеилось. Хэри как тень бродила по комнате, иногда на время исчезала. После полудня, когда мы уже пообедали (впрочем, она вообще не ела, а я ел без аппетита — у меня так разламывалась голова, что я даже не пытался заставить Хэри поесть), она вдруг села рядом и принялась теребить мой рукав.

— Ну что там еще, — пробурчал я неохотно.

Мне хотелось пойти наверх; по трубам доносился слабый отголосок стука — видимо, Сарториус возился с аппаратурой высокого напряжения. Но при мысли, что придется взять с собой Хэри, тотчас пропало всякое желание идти. Присутствие Хэри в библиотеке еще как-то объяснимо, но там, среди машин, оно может дать Снауту повод для

неуместного замечания.

— Крис, — прошептала Хэри, — а как у нас с тобой?..

Я невольно вздохнул. Нельзя сказать, чтобы это был счастливый день.

— Все прекрасно. А в чем дело?

— Я хочу с тобой поговорить.

— Пожалуйста. Я слушаю.

— Только не так.

— А как? Ты же видишь, у меня болит голова, дел полно...

— Было бы желание, Крис.

Я выдавил жалкую улыбку.

— Хорошо, дорогая, говори.

— А ты скажешь мне правду?

Я поднял брови. Такое начало мне не нравилось.

— Зачем мне тебя обманывать?

— У тебя могут быть причины. Серьезные. Но если хочешь... чтобы... ну, видишь ли... тогда не обманывай меня.

Я промолчал.

— Я тебе что-то скажу, и ты мне скажи. Хорошо? Всю правду. Несмотря ни на что.

Я не глядел ей в глаза, она ловила мой взгляд, но я сделал вид, что этого не замечаю.

— Я уже говорила тебе. Не знаю, откуда я здесь появилась. Но, может, ты знаешь. Подожди, дай договорить. Может, и ты не знаешь. А если знаешь и не можешь мне теперь сказать, то... потом... когда-нибудь? Это не самое страшное. Во всяком случае, останется хоть какая-то возможность...

Мне стало холодно.

— Маленькая моя, что ты говоришь? Какая возможность? — бормотал я.

— Крис, кем бы я ни была, я не маленькая. Ты же обещал. Скажи.

От ее слов «кем бы я ни была» я онемел и мог только глядеть на нее, бессмысленно качая головой, словно защищаясь от того, что мне еще предстояло услышать.

— Послушай, ведь не обязательно говорить сейчас, скажи просто, что не можешь...

— Я ничего не скрываю... — ответил я охрипшим голосом.

— Ну и прекрасно.

Хэри встала. Я хотел что-нибудь сказать, чувствуя, что нельзя так заканчивать разговор, но слова застревали в горле.

— Хэри...

Она стояла у окна, спиной ко мне. Темно-синий, пустой Океан распростерся под голым небом.

— Хэри, если ты думаешь, что... Хэри, ведь ты же знаешь, я люблю тебя...

— Меня?

Я подошел к ней, хотел ее обнять. Она оттолкнула мою руку.

— Ты такой добрый... — сказала она. — Любишь? Лучше бы ты меня бил!

— Хэри, дорогая!

— Нет! Нет! Замолчи, пожалуйста!

Хэри подошла к столу и стала собирать тарелки. Я глядел в темно-синюю пустоту. Солнце заходило, и огромная тень Станции равномерно покачивалась на волнах. Тарелка выскользнула из рук Хэри и упала на пол. Вода булькала в раковине. Рыжий цвет переходил по краям небосвода в золотисто-бурый. Если бы я знал, что делать. Если бы я знал! Наступила тишина. Хэри стояла за моей спиной.

— Нет. Не смотри на меня, — сказала Хэри, понижая голос до шепота. — Ты ни в чем не виноват, Крис. Я знаю. Не расстраивайся.

Я протянул к ней руку. Хэри убежала в глубь кабины и, поднимая стопку тарелок, сказала:

— Жаль. Если бы их можно было разбить, ох, расколотила бы я, расколотила бы все сразу!!

Я думал, что она действительно швырнет их на

пол, но Хэри, посмотрев на меня, улыбнулась.

— Не бойся, сцен устраивать не буду.

Я проснулся среди ночи и сразу настороженно сел на койке. В комнате было темно; из коридора через приоткрытую дверь проникал слабый свет. Что-то пронзительно шипело, звук этот все нарастал, сопровождаемый глухими ударами, словно что-то большое отчаянно билось за стеной. «Метеор! — пронеслось у меня в голове. — Пробил обшивку. Кто-то остался там!»

Долгий хрип.

Я окончательно пришел в себя. Я же на Станции, не на ракете, а этот ужасный звук...

Я выскочил в коридор. Дверь малой лаборатории была открыта настежь, там горел свет; я вбежал туда.

Меня обдало невыносимым холодом. Кабину наполнял пар, от которого замерзало дыхание. Множество белых снежинок кружилось над телом, завернутым в купальный халат, оно слабо билось об пол. В этом холодном тумане я едва различил Хэри, я бросился к ней, поднял ее, холод обжигал мне руки, Хэри хрипела; я побежал по коридору мимо дверей, уже не чувствуя холода, пар, вырывавшийся из ее губ, огнем жег мне плечо.

Я уложил Хэри на стол, разорвал на груди халат,

взглянул на ее обледеневшее дергающееся лицо: кровь замерзла во рту, черным налетом запеклась на приоткрытых губах, на языке блестели кристаллики льда...

Жидкий кислород. В лаборатории был жидкий кислород, в сосудах Дьюара. Когда я поднимал Хэри, у меня под руками хрустнуло стекло. Сколько она могла выпить? Все равно сожжена трахея, гортань, легкие; жидкий кислород сильнее концентрированной кислоты. Ее скрипучее, сухое, как звук разрываемой бумаги, дыхание замирало. Глаза были закрыты. Агония.

Я посмотрел на огромные застекленные шкафы с инструментами и лекарствами. Трахеотомия? Интубация? Но ведь уже нет легких! Они сожжены. Лекарство? Сколько лекарств! Полки заставлены рядами цветных бутылей и коробок. Хрип заполнял все помещение, из открытого рта Хэри поднимался пар.

Грелки...

Я принялся искать их, кинулся к одному шкафу, к другому, выбрасывал коробочки с ампулами. Шприц? Где? В стерилизаторе? Я не мог собрать шприц — руки замерзли, пальцы одеревенели, не гнулись. Я в бешенстве бил рукой о крышку стерилизатора, ничего не чувствуя. Хрип стал

громче. Я бросился к Хэри. Глаза у нее были открыты.

— Хэри!

Голос у меня пропал, губы не слушались.

Ребра ходили ходуном под белой кожей, волосы, влажные от тающего снега, рассыпались. Хэри смотрела на меня.

— Хэри!

Я больше ничего не мог произнести. Стоял как чурбан, опустив непослушные, окостеневшие руки; ноги, губы, веки начали у меня гореть все сильней. Но я почти не ощущал этого. Капля растаявшей в тепле крови стекала по щеке Хэри, рисуя косую черту; язык задрожал и исчез, Хэри все еще хрипела.

Я взял ее за запястья — пульс не прощупывался; раздвинув полы халата, я приложил ухо к пронзительно холодному телу около груди. Сквозь шум, напоминавший треск огня, я услышал лихорадочный стук, бешеные удары, такие быстрые, что их нельзя было сосчитать. Я стоял низко наклонившись, с закрытыми глазами. Что-то коснулось моей головы. Хэри дотронулась пальцами до моих волос. Я заглянул в ее глаза.

— Крис, — прохрипела Хэри.

Я схватил ее за руку, Хэри ответила пожатием,

которое чуть не раздробило мне кисть. Ужасная гримаса застыла на ее лице, между век сверкали белки, в горле захрипело, тело содрогалось от рвоты. Я едва смог удержать Хэри; она сползала со стола, билась головой о край фаянсовой воронки. Я поддерживал ее, прижимал к столу; после каждой спазмы Хэри вырывалась у меня из рук. Я моментально вспотел, ноги стали ватными. Когда приступы рвоты сделались реже, я попытался положить Хэри. Воздух свистел у нее в груди. Неожиданно на этом страшном окровавленном лице засветились глаза.

— Крис, — захрипела она, — долго... долго ли, Крис?

Она стала задыхаться, пена выступала у нее на губах, снова началась рвота. Я держал ее из последних сил. Хэри так резко упала навзничь, что у нее даже зубы застучали. Она тяжело дышала.

— Нет, нет, нет, — быстро выдыхала она, и каждый выдох казался последним.

Рвота продолжалась; Хэри снова заметалась в моих руках, в короткие перерывы между приступами она втягивала воздух с таким трудом, что проступали ребра. Потом веки наполовину закрыли ее невидящие глаза. Хэри больше не шевелилась. Я решил, что это конец. Даже не

пытаясь стереть с ее губ розовую пену, я стоял, склонившись над ней, слыша далекий звон огромного колокола, и ждал ее последнего вздоха, чтобы потом рухнуть на пол, но Хэри дышала уже почти без хрипов, дышала все спокойнее и спокойнее, грудь ее уже не вздрагивала, сердце стучало ровнее. Я стоял сгорбившись. Лицо Хэри начало розоветь. Я еще ничего не понимал. Ладони у меня вспотели, мне казалось, что я глохну: чем-то мягким, эластичным были забиты уши, однако я еще слышал частый звон, теперь глухой, словно колокол треснул.

Хэри подняла веки, и наши взгляды встретились.

«Хэри», — хотел сказать я, но не смог пошевелить губами, словно на лице у меня была мертвая, тяжелая маска; я мог только смотреть.

Ее глаза оглядели комнату, она повернула голову. Было очень тихо. За мной, в каком-то другом, далеком мире, капала вода из плохо закрытого крана. Хэри приподнялась на локтях. Села. Я попятился. Хэри следила за мной.

— Что? — сказала она. — Что?.. Не... удалось? Почему?.. Почему ты так смотришь?.. — И вдруг она страшно закричала: — Почему ты так смотришь?!!

В наступившей тишине она оглядела свои руки, пошевелила пальцами.

— Это я?

— Хэри, — произнес я без звука, одними губами. Хэри подняла голову.

— Хэри?.. — повторила она.

Хэри медленно сползла на пол и встала. Покачнулась, но удержалась на ногах. И сделала несколько шагов. Все это она проделала как загипнотизированная, глядя на меня невидящими глазами.

— Хэри? — медленно повторила она еще раз. — Но... я... не Хэри. Кто я?.. Хэри? А ты, ты?!

Неожиданно ее глаза расширились, засветились, слабая изумленная улыбка озарила ее лицо.

— Может, ты тоже? Крис! Может, ты тоже?!

От страха я прижался спиной к шкафу и молча стоял там. Руки у Хэри опустились.

— Нет, — сказала она. — Нет, ведь ты боишься. Ну послушай, я ведь не могу. Нельзя так. Я ничего не знала. Я и теперь по-прежнему ничего не понимаю. Ведь это немыслимо? Я, — она прижала к груди стиснутые побелевшие руки, — ничего не знаю, ничего, я знаю только одно: я — Хэри! Ты думаешь, я притворяюсь? Нет, не притворяюсь,

честное святое слово, не притворяюсь.

Последние слова прозвучали как стон. Хэри, плача, упала на пол. Этот крик сломил во мне что-то, одним прыжком я подскочил к ней, схватил за плечи, Хэри сопротивлялась, отталкивала меня, рыдая без слез, кричала:

— Отпусти! Отпусти! Я тебе противна! Я знаю! Я не хочу так! Не хочу! Ведь знаешь, сам знаешь, что это не я, не я, не я...

— Замолчи! — кричал я, тряся ее.

Мы оба кричали как сумасшедшие, стоя друг перед другом на коленях. Голова Хэри билась о мое плечо. Я изо всех сил прижимал Хэри к себе. Вдруг мы затихли, тяжело дыша. Вода равномерно капала из крана.

— Крис... — бормотала Хэри, уткнувшись лицом в мое плечо, — скажи, что я должна сделать, чтобы меня не стало, Крис...

— Перестань! — прикрикнул я.

Хэри подняла голову, внимательно посмотрела на меня.

— Как?.. Ты тоже не знаешь? Нельзя ничего сделать? Ничего?

— Хэри... пожалей меня...

— Я хотела... Ты же видел... Нет. Нет. Отпусти, я не хочу... Не прикасайся ко мне! Тебе противно!

— Неправда!

— Ложь! Противно! Мне... мне... самой... тоже. Если бы я могла. Если бы я только могла...

— Ты покончила бы с собой?

— Да.

— А я не хочу, понимаешь? Не хочу! Я хочу, чтобы ты была здесь, со мной, мне больше ничего не надо!

Огромные серые глаза впились в меня.

— Как ты лжешь... — совсем тихо произнесла Хэри. Я отпустил ее и встал. Хэри села на пол.

— Скажи, что мне сделать, чтобы ты поверила? Я говорю то, что думаю. Это правда. Другой правды нет.

— Ты не мог сказать мне правду. Я не Хэри.

— А кто ты?

Она задумалась. Подбородок у нее дрогнул. Раз, другой. Опустив голову, Хэри прошептала:

— Хэри... но... но я знаю, что это неправда. Ты не меня... любил там, давно...

— Да, — сказал я. — То, что было, прошло. Умерло. Но здесь я тебя люблю. Понимаешь?

Хэри покачала головой:

— Ты очень добр. Не думай, что я не могу оценить все, что ты сделал. Ты старался делать как можно лучше, но все напрасно. Три дня назад

я утром сидела возле тебя и ждала, пока ты проснешься. Тогда я ничего не знала. Мне кажется, будто это было давно, очень давно. Я была как помешанная. В голове был сплошной туман. Я не помнила, что было раньше, а что — позже, ничему не удивлялась, словно после наркоза или после тяжелой болезни. Я даже думала: может, я болела, а ты не хочешь мне об этом сказать. Но потом различные факты все больше и больше наталкивали меня на мысль. Ты знаешь, какие факты. У меня уже что-то мелькнуло в голове после твоего разговора там, в библиотеке, с этим, как его зовут, со Снаутом. Ты мне ничего не захотел сказать, поэтому я встала ночью и включила магнитофон. Я обманула тебя раз, единственный раз, Крис, магнитофон я потом спрятала. Тот, что говорил, — как его зовут?

— Гибарян.

— Да, Гибарян. Тогда я поняла все, хотя, если быть честной, по-прежнему ничего не понимаю. Я не знала одного: что я не могу... что я... что это так кончится, что этому... нет конца. Об этом он ничего не говорил. Впрочем, может, и говорил, но ты проснулся, и я выключила магнитофон. Но я и так услышала достаточно, чтобы понять, что я не человек, а лишь инструмент.

— Что ты, Хэри!

— Да, инструмент. Для изучения твоих реакций. Или что-то в этом роде. У каждого из вас есть такой... такая, как я. Все основано на воспоминаниях или на воображении, подавлено... Впрочем, ты знаешь лучше меня. Он говорил такие страшные, неправдоподобные вещи, и, если бы все не совпадало, я бы не поверила!

— Что совпадало?

— Ну, что мне не надо спать и я должна всегда быть около тебя. Вчера утром я думала еще, что ты меня ненавидишь, и поэтому была несчастной. Боже, какой я была дурой! Но скажи, сам скажи, могла ли я себе представить?.. Ведь Гибарян вовсе не ненавидел эту свою, а как он о ней говорил! Только тогда я поняла: что бы я ни делала — все едино, потому что, хочу я или нет, для тебя это все пытка. Нет, даже хуже, ведь орудие пытки неживое, оно ни в чем не повинно, как камень, который может упасть и убить. А что орудие пытки может желать добра и любить, этого я себе представить не могла. Мне хотелось бы по крайней мере рассказать тебе, что во мне происходило потом, когда я поняла, когда слушала пленку. Может, тебе пригодится. Я даже попыталась записать...

— Поэтому ты зажгла свет? — спросил я, с трудом выдавливая слова.

— Да. Но ничего не получилось. Ведь я искала в себе, знаешь... *их* — что-то совершенно иное, просто сходила с ума, поверь мне! Иногда мне казалось, что под кожей у меня нет тела, что внутри у меня нечто такое... что я... что я только оболочка. Чтобы обмануть тебя. Понимаешь?

— Понимаю.

— Когда ночью лежишь без сна, до чего только не додумаешься! До самых невероятных вещей, ты сам знаешь...

— Знаю...

— Но я чувствовала свое сердце и помнила, что ты делал анализ моей крови. Какая у меня кровь, скажи, скажи правду. Ведь теперь ты можешь.

— Такая же, как у меня.

— Правда?

— Клянусь тебе.

— Что это значит? Я потом думала, что, может, *это* спрятано где-то во мне, что оно... может, очень маленькое. Но я не знала, где. Сейчас я думаю, может, в конце концов, это была уловка с моей стороны, ведь я очень боялась того, что хотела сделать, и искала иного выхода. Но, Крис, если у меня та же самая кровь... если все так; как

ты говоришь, тогда... Нет, это невозможно. Ведь тогда бы я умерла, правда? Значит, все же что-то есть, но где? Может, в голове? Но я же думаю совершенно нормально... и ничего не знаю... если бы я *этим* думала, то должна была бы сразу все знать и не любить тебя, только делать вид и понимать, что делаю вид... Крис, пожалуйста, скажи мне все, что тебе известно, может, удастся что-нибудь сделать?

— Что именно?

Хэри молчала.

— Ты хочешь умереть?

— Пожалуй, да.

Воцарилась тишина. Хэри сидела, сжавшись в комочек, у моих ног. Я рассматривал зал, белую эмаль оборудования, блестящие рассыпанные инструменты, как будто искал что-то очень нужное и не мог найти.

— Хэри, можно и мне что-то сказать?

Она ждала.

— Да, правда, ты не совсем такая, как я. Но это не значит, что ты хуже меня. Напротив. Можешь думать что хочешь, но благодаря этому... ты не умерла.

Какая-то детская жалкая улыбка появилась на ее лице.

— Я... бессмертна?

— Не знаю. Во всяком случае, ты не так смертна, как я.

— Как страшно, — прошептала Хэри.

— Может, не так страшно, как тебе кажется.

— Но ты мне не очень-то завидуешь.

— Хэри, это, скорее, вопрос твоего... предназначения, так бы я назвал это. Знаешь, здесь, на Станции, твое предназначение в конечном счете так же неясно, как мое, как каждого из нас. Те будут продолжать эксперимент Гибаряна, и может случиться все...

— Или ничего.

— Или ничего, и поверь, я предпочел бы, чтобы ничего не произошло, даже не потому, что боюсь (хотя и страх, пожалуй, играет какую-то роль), а потому, что это ни к чему не приведет. Вот единственное, в чем я уверен.

— Ни к чему не приведет? Почему? Из-за... Океана?

Хэри вздрогнула от отвращения.

— Да. Из-за контакта. Думаю, что, в сущности, все весьма просто. Контакт означает обмен каким-то опытом, понятиями, по крайней мере результатами, какими-то положениями, а если нет ничего для обмена? Если слон — не огромная

бактерия, то и Океан не может быть огромным мозгом. С обеих сторон могут, конечно, происходить определенные действия. В результате одного из них я сейчас вижу тебя и пытаюсь объяснить тебе, что ты мне дороже, чем двенадцать лет жизни, посвященных планете Солярис, я хочу быть с тобой и дальше. Может, твое появление должно было стать наказанием, может, благодеянием, а может, только микроскопическим исследованием. Доказательством дружбы, коварным ударом, издевательством? Может, всем одновременно или, что наиболее правдоподобно, — чем-то совсем иным. Но в конце концов, нас же не касаются замыслы наших родителей, совсем не похожих друг на друга. Можешь сказать, что от их замыслов зависит наше будущее, и я соглашусь с тобой. Но я не в силах предвидеть будущее. Так же, как и ты. Я не могу даже уверять, что буду всегда любить тебя. Если уже столько случилось, то может произойти все. Может, завтра я превращусь в зеленую медузу? Тут мы бессильны. Но пока можем, мы будем вместе. А это не так уж мало.

— Послушай, — сказала Хэри. — Я хочу спросить. Я... я... очень похожа на нее?

— Была очень похожа, — ответил я, — а теперь

не знаю.

— Что?

Хэри встала. Она глядела на меня, широко открыв глаза.

— Ты ее уже заслонила.

— И ты убежден, что ты не ее, а меня? Меня?..

— Да. Именно тебя. Не знаю, боюсь, что, если бы ты действительно была ею, я не смог бы тебя любить.

— Почему?

— Потому что поступил ужасно...

— По отношению к ней?..

— Да. Когда мы были...

— Не надо...

— Почему?

— Я хочу, чтобы ты знал, что я — это не она.

Разговор

На следующий день, после обеда, я нашел на столе возле окна записку от Снаута. Он сообщал, что Сарториус пока приостановил работу над аннигилятором, чтобы последний раз испытать воздействие жесткого излучения на Океан.

— Дорогая, — сказал я, — мне нужно пойти к Снауту.

Красная заря горела в стеклах и делила комнату на две части. Мы были в голубой тени. За границей тени все выглядело медным, и казалось, если книга упадет с полки, то зазвенит.

— Речь идет об эксперименте. Я только не знаю, как лучше сделать. Мне хотелось бы, понимаешь... — Я остановился.

— Не оправдывайся, Крис. Я бы очень хотела... Если только не долго?..

— Это займет какое-то время, — ответил я. — Послушай, а может, ты пойдешь со мной и подождешь меня в коридоре?

— Хорошо. А если я не выдержу?

— Что, собственно, с тобой происходит? — спросил я и поспешно добавил: — Я спрашиваю не из

любопытства, понимаешь, но, может, разобравшись в этом, ты сама справишься.

— Я боюсь, — ответила Хэри, бледнея. — Я не могу тебе сказать, чего я боюсь, даже не боюсь, а просто растворяюсь. В последний момент я чувствую такой стыд... Как тебе объяснить... А потом уже ничего, пустота. Поэтому я думала, что я больна... — Хэри вздрогнула.

Последние слова она проговорила чуть слышно.

— Может, такое происходит только здесь, на этой чертовой Станции, — проговорил я. — Я постараюсь сделать все, чтобы мы как можно скорее покинули ее.

— Ты думаешь, это возможно? — Хэри широко открыла глаза.

— Вполне. В конце концов, не прикован же я... Впрочем, надо сначала договориться со Снаутом, а там посмотрим. Сколько ты сможешь пробыть одна?

— Кто знает... — опустив голову, медленно начала Хэри. — Если я буду слышать твой голос, то, пожалуй, справлюсь.

— Мне хотелось бы, чтобы ты не слушала, о чем мы говорим. У меня от тебя нет никаких секретов, но я не знаю, не могу знать, что скажет Снаут.

— Не продолжай. Я понимаю. Хорошо. Я буду стоять так, чтобы слышать лишь твой голос. Мне больше ничего не надо.

— Я сейчас позвоню ему из лаборатории. Дверь закрывать я не стану.

Хэри кивнула. Я прошел сквозь стену красных солнечных лучей в коридор, который, несмотря на искусственное освещение, казался почти черным. Дверь малой лаборатории была открыта. Зеркальные обломки сосуда Дьюара, лежавшие на полу, возле огромных резервуаров с жидким кислородом, все еще напоминали о ночном происшествии. Засветился маленький экран. Когда я снял трубку и набрал номер радиостанции, синеватая завеса, закрывавшая изнутри матовое стекло, раздвинулась, и Снаут, перегнувшись через подлокотник высокого кресла, заглянул мне прямо в глаза.

— Приветствую, — сказал он.

— Я прочитал записку. Хотел бы с тобой поговорить. Можно прийти?

— Приходи. Сейчас?

— Да.

— Пожалуйста. Ты... с кем-нибудь?

— Нет, один.

Его худое бронзовое от загара лицо с глубокими

поперечными морщинами на лбу плыло в выпуклом стекле, как удивительная рыба в аквариуме.

— Ну-ну, — сказал он многозначительно. — Я жду.

— Мы можем идти, дорогая.

Я старался говорить оживленно, входя в кабину сквозь красные лучи, за которыми видел только силуэт Хэри, но у меня сорвался голос. Хэри приросла к креслу: просунула руки под подлокотники и сцепила пальцы. Она слишком поздно услышала мои шаги или не смогла быстро изменить свою ужасную позу — не знаю, но я успел увидеть, как она борется с той непонятной силой, которая скрывается в ней. Мое сердце сдавил слепой, бешеный гнев, смешанный с жалостью.

Мы молча пошли по длинному коридору; разноцветная эмаль на его стенах по замыслу архитектора должна была разнообразить пребывание в металлической скорлупе. Я еще издалека заметил открытую дверь радиостанции. Оттуда в глубь коридора падала длинная красная полоса — и сюда доходило солнце. Я посмотрел на Хэри — она даже не пыталась улыбнуться, сосредоточенно готовясь к борьбе с собой. Приближающееся испытание уже сейчас изменило ее лицо — оно побледнело и осунулось. В нескольких шагах от

двери Хэри остановилась, я повернулся к ней, кончиками пальцев она слегка толкнула меня, как бы говоря: «Иди». И тут мои планы, Снаут, эксперимент, вся Станция — все показалось мне таким ничтожным по сравнению с той мукой, на которую она себя обрекала. Я почувствовал себя палачом и хотел было повернуть назад, но широкую солнечную полосу, надломленную на стене коридора, заслонила тень человека. Я торопливо вошел в кабину. Снаут ждал меня у дверей. Красное солнце стояло прямо за ним, и пурпурный отблеск горел в его седых волосах. Мы довольно долго молча глядели друг на друга. Казалось, Снаут изучал меня. Ослепленный солнцем, я плохо видел выражение его лица. Я обошел Снаута и остановился возле высокого пульта, на котором торчали гибкие стебли микрофонов. Снаут медленно повернулся, невозмутимо следя за мной все с той же легкой гримасой, которая то воспринималась как улыбка, то выражала усталость. Не спуская с меня глаз, Снаут подошел к металлическому, занимающему всю стену шкафу, перед которым громоздились поспешно, кое-как сваленные груды радиодеталей, аккумуляторы и разные инструменты, поставил туда стул и сел, опираясь спиной на эмалированные

дверцы.

Наше молчание становилось уже по меньшей мере странным. Я сосредоточенно прислушивался к тишине, царившей в коридоре, где осталась Хэри. Оттуда не доносилось ни шороха.

— Когда у вас будет готово? — спросил я.

— Мы могли бы начать хоть сегодня, но запись потребует еще немного времени.

— Запись? Ты говоришь об энцефалограмме?

— Да, ты же согласился. А что?

— Так, ничего.

— Я слушаю тебя, — произнес Снаут через какое-то время.

— Она все знает... о себе, — чуть слышно сказал я. Брови Снаута поползли вверх.

— Знает?

Мне показалось, что Снаут только притворяется удивленным. Почему он притворяется? Мне сразу расхотелось говорить, но я переборол себя. Надо быть хотя бы лояльным, подумал я, если ничего другого не остается.

— Она стала догадываться, пожалуй, после нашего разговора в библиотеке, наблюдала за мной, сопоставляла факты, потом нашла магнитофон Гибаряна и прослушала запись...

Снаут сидел, по-прежнему опираясь на шкаф,

но в его глазах вспыхнули искорки. Я стоял у пульта напротив двери, приоткрытой в коридор. Я продолжал еще тише:

— Сегодня ночью, когда я спал, она пыталась покончить с собой. Жидкий кислород...

Что-то зашелестело, я замер, прислушиваясь, — звук доносился не из коридора. Где-то совсем близко заскреблась мышь... Мышь? Глупости! Откуда здесь мыши? Я присмотрелся к Снауту.

— Слушаю тебя, — произнес Снаут спокойно.

— Конечно, это ей не удалось... во всяком случае, она знает, кто она.

— Зачем ты мне об этом говоришь? — вдруг спросил Снаут.

Я не сразу сообразил, что ему ответить.

— Хочу, чтобы ты ориентировался... чтобы ты знал, как обстоят дела, — пробормотал я.

— Я предупреждал тебя.

— Иначе говоря, ты знал. — Я невольно повысил голос.

— Нет. Разумеется, нет. Но я же объяснял тебе, как все происходит. Каждый «гость», когда появляется, почти фантом. Несмотря на беспорядочную мешанину воспоминаний и образов, почерпнутых от своего... Адама... «гость», в сущности, пуст. Чем дольше «гость» с тобой, тем больше

он очеловечивается и становится все самостоятельнее, конечно, до известных пределов. И чем дольше это тянется, тем труднее...

Снаут помолчал, посмотрел на меня исподлобья и равнодушно спросил:

— Она все знает?

— Да, я же сказал тебе.

— Все? И то, что один раз была здесь, а ты...

— Нет!

Снаут усмехнулся.

— Кельвин, послушай, если это так далеко зашло... что ты собираешься делать? Покинуть Станцию?

— Да.

— С ней?

— Да.

Снаут замолчал, обдумывая мои ответы, но было в его молчании что-то еще... Что? Снова как будто что-то зашелестело совсем близко, за тонкой перегородкой. Снаут заерзал на стуле.

— Прекрасно, — сказал он. — Почему ты так на меня смотришь? Ты предполагал, что я помешаю тебе? Поступай так, как хочешь, дорогой мой. Хороши бы мы были, если бы в довершение всего стали принуждать друг друга! Я не собираюсь тебя уговаривать, скажу одно — ты стараешься в

нечеловеческих условиях оставаться человеком. Может, это и красиво, но бессмысленно. Впрочем, я не уверен, красиво ли это. Разве глупость может быть красива? Но не в этом дело. Ты отказываешься продолжать эксперименты, хочешь уйти, забрав ее. Да?

— Да.

— Но это тоже... эксперимент. Ты меня слышишь?

— Что ты имеешь в виду? Сможет ли... она?.. Если вместе со мной, то не вижу...

Я говорил все медленнее, потом умолк. Снаут вздохнул.

— Кельвин, мы все, как страусы, прячем головы в песок, но мы по крайней мере знаем об этом и не разыгрываем благородства.

— Ничего я не разыгрываю.

— Ладно. Я не собирался тебя обижать. Свои слова о благородстве беру обратно, но слова о страусах остаются в силе. Особенно это касается тебя. Ты обманываешь не только ее, но и себя, главным образом себя. Ты знаешь условия стабилизации системы, построенной из нейтринной материи?

— Нет. Ты тоже не знаешь. Никто не знает.

— Безусловно. Но нам известно одно: такие

системы неустойчивы и могут существовать только благодаря непрерывному притоку энергии. Я знаю это от Сарториуса. Энергия образует вихревое стабилизирующее поле. Спрашивается: является ли это поле внешним по отношению к «гостю»? Или поле возникает в его организме? Понимаешь разницу?

— Да, — медленно сказал я. — Если оно внешнее, тогда... она... Тогда... такие...

— Тогда при удалении от Солярис система распадается, — договорил за меня Снаут. — Мы не можем этого предвидеть, но ты ведь уже поставил опыт. Ракета, которую ты запустил... по-прежнему вращается вокруг планеты. В свободную минуту я даже подсчитал параметры ее движения. Можешь полететь, выйти на орбиту, состыковаться и посмотреть, что стало с... пассажиркой...

— Ты с ума сошел! — прошипел я.

— Ты думаешь? Ну... а если... вернуть ее, твою ракету? Это возможно. У нее дистанционное управление. Мы вернем ракету и...

— Довольно!

— И это тебе не по душе? Есть еще один способ, очень простой. Не надо даже возвращать ее на Станцию. Пусть себе летает. Мы просто-напросто свяжемся с ней по радио; если она жива, то

отзовется и...

— Там уже давно кончился кислород! — с трудом выдавил я.

— Может, она обходится без кислорода... Ну как, попробуем?

— Снаут... Снаут...

— Кельвин... Кельвин... — сердито передразнил он меня. — Господи, что ты за человек. Кого ты хочешь осчастливить? Спасти? Себя? Ее? Какую? Эту или ту? На обеих не хватит смелости? Сам видишь, к чему это ведет. Говорю тебе последний раз: здесь ситуация — вне всякой морали.

Вдруг я услышал тот же самый шорох, будто кто-то ногтями царапал стену. Мною овладело полное безразличие: все выглядело крошечным, чуточку смешным, малозначительным, как в перевернутом бинокле.

— Ну хорошо, — сказал я. — Что, по-твоему, мне надо сделать? Убрать ее? На следующий день появится такая же, не правда ли? И еще раз? И так ежедневно? До каких пор? Зачем? Что мне это даст? А тебе? Сарториусу? Станции?

— Постой, сначала скажи ты. Ты полетишь вместе с ней и, предположим, сам увидишь, что с ней произойдет. Через несколько минут перед тобой окажется...

— Ну что? — язвительно спросил я. — Чудище? Демон, да?

— Нет. Ты станешь свидетелем обыкновенной, самой обыкновенной агонии. Ты и вправду поверил в их бессмертие? Уверяю тебя — они гибнут... Что ты тогда станешь делать? Вернешься за... новой?

— Прекрати!!! — закричал я, сжимая кулаки. Снаут, прищурившись, глядел на меня и снисходительно усмехался.

— Ах, тебе не нравится? Знаешь, на твоем месте я не затевал бы этого разговора. Лучше займись-ка чем-нибудь другим, например, начни сечь розгами — из мести — Океан. Что ты хочешь? Итак, если... — Снаут плутовато помахал рукой и поднял глаза к потолку, словно провожая кого-то взглядом, — то станешь мерзавцем? А так ты не мерзавец? Улыбаешься, когда хочется выть, притворяешься радостным и спокойным, когда готов рвать на себе волосы, — и ты не мерзавец? А что, если здесь нельзя не быть мерзавцем? Что тогда? Биться в истерике перед Снаутом, который виноват во всем, так? Ты ко всему прочему еще и идиот, дорогой мой...

— Ты говоришь о себе, — сказал я, опустив голову, — я... люблю ее.

— Кого? Свое воспоминание?

— Нет. Ее. Я рассказал тебе, что она пыталась сделать. Так поступил бы не каждый... живой человек.

— Ты сам признаешь, говоря...

— Не лови меня на слове.

— Хорошо. Значит, она тебя любит. А ты — хочешь любить. Это разные вещи.

— Ты ошибаешься.

— Кельвин, я сожалею, но ты сам посвятил меня в свои интимные дела. Не любишь. Любишь. Она готова пожертвовать своей жизнью. Ты тоже. Очень трогательно, прекрасно, возвышенно — все что угодно. Но здесь неуместно. Неуместно. Понимаешь? Нет, ты не желаешь понять. Силы, которыми мы не управляем, втянули тебя в круговорот, а она — часть его. Фаза. Повторяющийся цикл. Если бы она была... если бы тебя преследовало страшилище, готовое на все для тебя, ты отделался бы от него без всяких колебаний. Так?

— Так.

— А если... если... именно поэтому она *не страшилище*? Это связывает тебе руки? А может, надо, чтобы руки у тебя были связаны?

— Еще одна гипотеза. В библиотеке их уже миллион. Снаут, хватит, она... я не хочу с тобой

об этом говорить.

— Ну и не говори. Ты сам начал. Но ты только подумай, что она, в конце концов, лишь зеркало, в котором отражается часть твоего мозга. Она прекрасна потому, что прекрасными были твои воспоминания. Ты дал рецепт. Круговорот, помни!

— Чего ты ждешь от меня? Чтобы я... чтобы я избавился от нее? Я уже спрашивал у тебя: зачем мне это делать? Ты не ответил.

— Сейчас отвечу. Я не приглашал тебя, не начинал этого разговора, не касался твоих дел. Я ничего тебе не приказываю, ничего не запрещаю, я не стал бы, если бы и мог. Ты, ты пришел сюда и выложил мне все, а знаешь почему? Нет? Ты желаешь свалить с себя все. Свалить. Я хорошо представляю, каково тебе, мой дорогой. Да, да! Не прерывай меня. Я ничего тебе не запрещаю, но ты — ты сам хочешь, чтобы я тебе помешал. Если бы я встал на твоем пути, может, ты бы голову мне разбил — мне, обыкновенному человеку, такому же, как ты, и сам чувствовал бы себя человеком. А так ты не можешь справиться и поэтому заводишь спор со мной... вернее, с самим собой! Ты еще скажи, что не вынесешь, если она вдруг исчезнет... Ладно, ничего не говори.

— Ну, знаешь ли! Я пришел, чтобы рассказать тебе, совершенно лояльно, что я собираюсь покинуть вместе с ней Станцию, — отбивался я, но мои слова прозвучали неубедительно даже для меня самого.

Снаут пожал плечами.

— Весьма вероятно, что ты вынужден настаивать на своем. Я сказал тебе все лишь потому, что ты слишком далеко зашел, а вернуться, сам понимаешь... Приходи завтра утром часов в девять к Сарториусу, наверх... Придешь?

— К Сарториусу? — удивился я. — Он же никого не пускает к себе, ты говорил, что ему и позвонить нельзя.

— Он как-то все уладил. Мы это не обсуждаем. Ты... у тебя совсем другое. Неважно. Придешь утром?

— Приду, — буркнул я.

Я смотрел на Снаута. Он как-то неестественно держал левую руку за дверцей шкафа. Когда дверца приоткрылась? Вероятно, довольно давно, но, возбужденный неприятным для меня разговором, я не обратил внимания. До чего странно все выглядело... Будто... он прятал там что-то. Или кто-то держал его за руку. Я облизал губы.

— Снаут, в чем дело?..

— Уходи, — тихо, очень спокойно сказал он. — Уходи.

Я вышел и закрыл за собой дверь в последних лучах багряного зарева. Хэри сидела на полу, шагах в десяти от меня, у самой стены. Заметив меня, она вскочила.

— Смотри! — произнесла она; глаза у нее блестели. — Получилось, Крис. Я так рада. Может... может, будет все лучше и лучше...

— Конечно, — рассеянно ответил я.

Мы возвращались к себе, а я ломал голову: неужели он прячет в этом дурацком шкафу... А весь наш разговор?.. Щеки у меня стали гореть, я невольно потер их. Боже, какое сумасшествие, к чему мы, собственно, пришли? К чему? Да, завтра утром...

И вдруг мне стало страшно, почти так же, как ночью. Моя энцефалограмма. Полная запись всей деятельности мозга, переложенная в колебания пучка лучей, будет послана вниз. В глубь этого необъятного, безграничного чудовища. Как Снаут сказал... «Ты не вынесешь, если она вдруг исчезнет...» Энцефалограмма — полная запись, запись и бессознательных процессов. А если я хочу, чтобы она исчезла, погибла? Иначе разве я испугался бы так, когда она осталась жива после

своей ужасной попытки? Можно ли отвечать за свое подсознание? Если я не отвечаю за него, тогда кто же... Какая ерунда! Черт побери, зачем я согласился, чтобы мою, именно мою... Я могу, конечно, ознакомиться с записью, но я же ее не расшифрую. Никто не сможет ее расшифровать. Специалисты могут лишь в общих чертах сказать, о чем думал испытуемый, например, решал ли он математические задачи, но установить какие они не в силах. По их словам, это невозможно, так как энцефалограмма отражает множество одновременно происходящих процессов, и только часть из них имеет психологическую «подоплеку»... А подсознательные... О них и говорить никто не хочет, где уж там расшифровать чьи-то воспоминания, то, что живет в памяти или что постарались забыть... Но почему я так боюсь? Ведь утром я сам говорил Хэри, что эксперимент ничего не даст. Если наши нейрофизиологи не могут расшифровать запись, то как же разберется в ней абсолютно чуждый, черный, жидкий исполин?..

Но проник же он в меня неведомо как, переворошил все в моей памяти и отыскал в ней самый болезненный атом! Могу ли я в этом сомневаться. Без чьей-либо помощи, без всякой «передачи

лучевой энергии» он вторгся сквозь двойную герметическую обшивку, сквозь тяжелую скорлупу на Станцию, внутри ее нашел мое тело и ушел с добычей...

— Крис?.. — тихо произнесла Хэри.

Я стоял у иллюминатора, уставившись невидящими глазами в сгущающуюся темноту. Легкая, нежная на этой географической широте пелена закрывала звезды. Сплошной, хотя и тонкий, слой облаков стоял очень высоко, из глубины, из-за горизонта солнце окрашивало его чуть заметным серебристо-розовым сиянием.

Если она потом исчезнет, значит я хотел этого. Значит, я убил ее. Не пойти туда? Они не могут меня заставить. Но что я им скажу? Об этом — нет. Не могу. Да, надо притворяться, надо обманывать всегда и во всем. И все потому, что во мне, вероятно, кроются мысли, планы, надежды — жестокие, великолепные, безжалостные, а я ничего о них не знаю. Человек отправился навстречу иным мирам, новым цивилизациям, до конца не познав собственной души: ее закоулков, тупиков, бездонных колодцев, плотно заколоченных дверей. Выдать им Хэри... от стыда? Выдать лишь потому, что у меня не хватает смелости?

— Крис... — еще тише прошептала Хэри.

Я скорее почувствовал, чем услышал, как она бесшумно подошла ко мне, но сделал вид, что не замечаю ее. Мне хотелось побыть одному, это было необходимо. Я ни на что еще не решился, ни на что. Я стоял неподвижно, глядя на темнеющее небо, на звезды, призрачную тень земных звезд. Обуревавшие меня мысли исчезли, и в пустоте росло мертвящее безразличие, уверенность, что где-то в недосягаемой глубине я уже сделал выбор и лишь притворяюсь, будто ничего не произошло. У меня не было сил даже презирать себя.

Мыслители

— Крис, ты из-за эксперимента?..

Я съежился от ее голоса. Уже несколько часов я не спал, всматриваясь в темноту. Я лежал, чувствуя себя одиноким, не слыша даже дыхания Хэри, забыв о ней; в спутанном лабиринте ночных мыслей, призрачных, полубессознательных, все приобретало новый смысл, иное измерение.

— Что?.. Почему ты решила, что я не сплю?.. — испуганно спросил я.

— Я заметила по твоему дыханию, — ответила Хэри, как бы извиняясь. — Я не хотела тебе мешать... Если не можешь, не говори...

— Могу... Да, из-за эксперимента. Ты угадала.

— Чего они ждут от эксперимента?

— Сами не знают. Но ждут чего-то. Чего-нибудь. Эту операцию следовало бы назвать не «Мысль», а «Отчаяние». Сейчас нужен человек, у которого хватило бы смелости взять на себя ответственность за решение. Но такой вид смелости большинство принимает за обычную трусость, ведь подобное решение — отступление, понимаешь, отказ, бегство, недостойное челове-

ка. Можно подумать, что барахтаться и увязать, тонуть в том, чего не понимаешь и никогда не поймешь, — достойно человека.

Я замолчал. Но не успел успокоиться, как меня охватил новый прилив гнева.

— Конечно, всюду найдутся типы практического склада. Они говорят, что если не удастся установить контакт, то, изучая плазму — все эти бредовые живые города, выскакивающие на сутки, чтобы потом исчезнуть, мы хотя бы раскроем тайну материи. Будто неизвестно, что все самообман; мы просто расхаживаем по библиотеке, заполненной книгами на непонятном языке, и глазеем на цветные корешки... Вот и все!

— А есть еще такие планеты?

— Неизвестно. Может, есть. Мы знаем только одну. Во всяком случае, такие планеты встречаются крайне редко, не то что Земля. Мы банальны, мы трава Вселенной — и гордимся нашей банальностью, тем, что она так распространена; мы думали — все возможно подогнать под нашу банальность. С такой схемой мы смело и радостно двинулись вдаль — в иные миры! Иные миры — подумаешь! Покорим их, или они нас покорят! Ничего другого не умещалось в наших несчастных головах. Ах, хватит об этом. Хватит!

Я встал, ощупью нашел аптечку, взял плоскую баночку со снотворным.

— Я буду спать, дорогая. — Я обернулся; в темноте где-то высоко гудел вентилятор. — Мне надо поспать. Иначе... сам не знаю...

Я сел на койку. Хэри прикоснулась к моей руке. Я обнял ее, невидимую, и держал, не шевелясь, до тех пор, пока сон не сморил меня.

Утром я проснулся свежим и отдохнувшим; эксперимент показался мне таким незначительным; как я мог так волноваться из-за него?! Меня мало беспокоило и то, что Хэри пойдет вместе со мной в лабораторию. Ее усилия выдержать даже мое кратковременное отсутствие были напрасны, и я отказался от дальнейших попыток, хотя она настаивала (даже предлагала мне запереть ее где-нибудь). Я посоветовал ей взять с собой книжку.

Сама процедура меня интересовала меньше, чем то, что я увижу в лаборатории. В бело-голубом зале не было ничего особенного — не хватало только кое-каких предметов на стеллажах и в шкафах (в некоторых из них стекла были разбиты, а дверцы кое-где потрескались — видно, недавно здесь происходила борьба, и ее следы хотя и поспешно, но тщательно ликвидированы). Снаут, возясь с аппаратурой, держался, как все-

гда, корректно, он не удивился появлению Хэри и поклонился ей издали.

Когда Снаут протирал мне виски физиологическим раствором, появился Сарториус. Он вышел из темной комнаты через небольшую дверь. На нем был белый халат и черный антирадиационный фартук почти до пола. Деловитый, энергичный Сарториус поздоровался со мной, словно мы были сотрудниками крупного земного института и расстались только вчера. Я лишь теперь заметил, что безжизненное выражение его лицу придавали контактные линзы, которыми он пользовался вместо очков. Скрестив руки на груди, он следил, как Снаут прибинтовывает электроды, сооружая у меня на голове нечто вроде чалмы. Сарториус несколько раз обвел глазами весь зал; Хэри он словно не заметил. Она сидела съежившись, несчастная, на небольшом табурете у стены и делала вид, что читает книгу. Когда Снаут отошел от моего кресла, я повернул голову в тяжелом шлеме из металла и проводов, чтобы увидеть, как он будет включать аппаратуру, но Сарториус неожиданно поднял руку и торжественно произнес:

— Доктор Кельвин! Минутку внимания! Прошу вас сосредоточиться! Я не собираюсь навязы-

вать вам свое мнение, так как это не приведет к цели, но вы не должны думать о себе, обо мне, о коллеге Снауте, вообще о ком бы то ни было, должны исключить случайные индивидуальности, отдельные личности и сосредоточиться на нашем общем деле. Земля и Солярис, поколения исследователей, составляющие единое целое, хотя каждый человек имеет свое начало и конец, наша последовательность в стремлении установить интеллектуальный контакт, исторический путь, пройденный человечеством, уверенность в дальнейшем его развитии, готовность ко всяким жертвам и трудностям, готовность подчинить нашей Миссии любые личные чувства — вот темы, которые должны целиком заполнить ваше сознание. Ход ассоциаций, правда, не зависит от вашей воли, но ваше соучастие все-таки поможет нам в эксперименте. Если у вас не будет уверенности, что вы справились с заданием, прошу сообщить нам, а коллега Снаут повторит запись. Мы располагаем временем...

Последние слова он произнес с равнодушной улыбкой, все так же холодно.

Меня коробило от его напыщенных, трескучих фраз. К счастью, Снаут прервал затянувшуюся паузу.

— Крис, можно? — спросил он, облокотившись на высокий пульт электроэнцефалографа, небрежно и чуть фамильярно нагнувшись ко мне.

Я был благодарен ему за то, что он назвал меня по имени.

— Можно, — ответил я, закрывая глаза. Волнение, охватившее меня, когда Снаут, закрепив электроды, взялся за рубильник, теперь исчезло; сквозь ресницы я увидел розоватый свет контрольных лампочек на черной панели аппарата. Влажные и неприятно холодные металлические электроды, которые, как монеты, опоясывали мою голову, потеплели. Мне казалось, что я — серая, неосвещенная арена. Толпа невидимых зрителей амфитеатром окружала пустоту и молчание, в которых таяло мое ироническое презрение к Сарториусу и к Миссии. Напряжение внутренних наблюдателей, жаждущих сыграть импровизированную роль, уменьшалось. «Хэри?» — мысленно, проверяя себя, с тошнотворным страхом произнес я это имя, готовый сразу же отступить. Но моя настороженная слепая аудитория не протестовала. Какое-то мгновение я был сплошной нежностью, искренней тоской, готовый к терпению и бесконечным жертвам. Хэри,

без очертаний, без формы, без лица, заполнила меня. И вскоре ее безликая отчаянная нежность уступила место образу Гизе. Отец соляристики и соляристов появился в серой темноте во всем своем профессорском величии, я думал не о грязевом взрыве, не о вонючей бездне, поглотившей его золотые очки и холеные седые усы, я видел только гравюру на титульном листе монографии — густо заштрихованный фон, на котором его голова выглядела как в ореоле; его лицо не чертами, а выражением добропорядочности, старомодной рассудительности напоминало лицо моего отца, и в конце концов я даже не знал, кто из них смотрит на меня. У обоих не было могилы — в наше время это случается так часто, что не вызывает особых волнений.

Картина исчезла, и на какое-то время (не знаю, на какое) я забыл о Станции, об эксперименте, о Хэри, о черном Океане — обо всем; во мне вспыхнула уверенность, что эти двое — уже не существующие, бесконечно маленькие, ставшие прахом — справились со всем, что выпало на их долю... Открытие успокоило меня, и бесформенная немая толпа вокруг серой арены, ожидавшая моего поражения, растворилась. В тот же миг раздалось два щелчка — выключили аппаратуру.

Искусственный свет ударил мне в глаза, я зажмурился, Сарториус испытующе смотрел на меня, стоя в той же позе; Снаут, повернувшись к нему спиной, возился у аппарата, нарочно шлепая спадающими с ног тапочками.

— Как вы полагаете, доктор Кельвин, получилось? — раздался гнусавый, неприятный голос Сарториуса.

— Да, — ответил я.

— Вы в этом убеждены? — с ноткой удивления, а может, подозрительности спросил Сарториус.

— Да.

От моего уверенного, резкого тона Сарториус на мгновение потерял свою чопорность.

— Хорошо, — буркнул он и огляделся, не зная, чем еще заняться.

Снаут подошел ко мне и начал снимать бинты.

Я встал и прошелся по залу, а тем временем Сарториус, который исчез в темной комнате, вернулся с проявленной и высушенной пленкой. На десятке метров ленты тянулись дрожащие зубчатые линии, похожие на белесую плесень или паутину на черном скользком целлулоиде.

Мне больше нечего было делать, но я не уходил. Те двое вставили в оксидированную головку модулятора пленку, конец которой Сарториус,

насупленный, недоверчивый, просмотрел еще раз, как бы пытаясь расшифровать смысл трепещущих линий.

Эксперимент шел теперь за пределами лаборатории. Сарториус и Снаут стояли каждый у своего пульта и возились с аппаратурой. Под током слабо загудели трансформаторы, а потом огоньки на вертикальных застекленных трубках индикаторов побежали вниз, указывая, что большой тубус рентгеновской установки опускается по отвесной шахте и должен остановиться в ее горловине. Огоньки в это время застыли на самых нижних делениях шкалы. Снаут стал увеличивать напряжение, пока стрелки, вернее, белые полоски, их заменявшие, не сделали полуоборот вправо. Гул тока был едва слышен, ничего не происходило, бобины с пленкой вращались под крышкой — их не было видно, счетчик метража тихонько тикал, как часы.

Хэри смотрела поверх книги то на меня, то на Снаута и Сарториуса. Я подошел к ней. Она повернулась ко мне. Эксперимент закончился, Сарториус медленно приблизился к большой конусообразной головке аппарата.

— Идем?.. — одними губами спросила Хэри.

Я кивнул. Хэри встала. Не прощаясь ни с кем

— по-моему, это было бы неуместно, — я прошел мимо Сарториуса.

Удивительно красивый закат освещал иллюминаторы верхнего коридора. Это не был обычный, мрачный, кроваво-красный закат — сейчас он переливался всеми оттенками розового цвета, приглушенного дымкой, осыпанной серебряной пылью. Тяжелая, лениво движущаяся чернота бесконечной равнины Океана, казалось, отвечала на нежное сияние буро-фиолетовым, мягким отблеском. Только в зените небо оставалось еще яростно-рыжим.

Я задержался в нижнем коридоре. Мне страшно было даже подумать, что мы снова будем заточены, как в тюремной камере, в своей кабине, лицом к лицу с Океаном.

— Хэри, — сказал я, — видишь ли... я заглянул бы в библиотеку... Ты не против?

— Хорошо, я поищу что-нибудь почитать, — ответила она с несколько наигранным оживлением.

Я чувствовал, что со вчерашнего дня между нами образовалась какая-то трещина и что нужно проявить хоть немного сердечности, но мне было все так безразлично. Даже не представляю, что могло бы вывести меня из этой апатии. Мы

возвращались по коридору, потом по пандусу спустились в маленький тамбур с тремя дверьми; между ними за стеклами росли цветы.

Средняя дверь, ведущая в библиотеку, была обита с двух сторон тисненой искусственной кожей; открывая, я каждый раз старался не задеть ее. В круглом большом зале с бледно-серебристым потолком, с символическими изображениями солнечного диска было немного прохладней.

Я провел рукой вдоль корешков собрания классических трудов по соляристике и уже хотел вынуть первый том Гизе, тот, с гравюрой на фронтисписе, прикрытом папиросной бумагой, но вдруг увидел не замеченный мною раньше толстый, формата ин-октаво, том Гравинского.

Я сел. В полной тишине за моей спиной Хэри листала книгу, я слышал, как шелестят страницы. Справочник Гравинского, который студенты попросту зазубривали, представлял собой сборник всех соляристических гипотез, расположенных по алфавиту: от «Абиологической» до «Ядерной». Компилятор, никогда не видевший Солярис, Гравинский копался во всех монографиях, протоколах экспедиций, в записях и донесениях тех времен, даже тщательно изучил выдержки из работ планетологов, занимавшихся другими

мирами. Он составил каталог с формулировками, столь краткими, что их лаконичность порой переходила в тривиальность, ибо терялся тонкий, сложный ход мысли исследователей. Впрочем, труд, задуманный как энциклопедический, оказался просто курьезом. Том был издан двадцать лет назад, и за это время выросла целая гора новых гипотез, они не поместились бы ни в какой книге. Я просматривал алфавитный указатель авторов, словно список погибших, — большинство уже умерло, а из живых, пожалуй, уже никто активно не работал в соляристике. Такое богатство мыслей создавало иллюзию, что хоть какая-то гипотеза верна, невозможно было себе представить, что действительность не соответствует мириадам предположений, изложенных здесь.

Гравинский в своем предисловии разделил на периоды известные ему шестьдесят лет соляристики. В первый, начальный период исследования планеты Солярис никто, собственно, не выдвигал гипотез. Тогда интуитивно, как подсказывал «здравый смысл», считалось, что Океан — мертвый химический конгломерат, чудовищная глыба, студенистая масса, омывающая планету и создающая удивительнейшие образования благодаря своей квазивулканической

деятельности. Кроме того, спонтанный автоматизм процессов стабилизирует непостоянную орбиту планеты, подобно тому как маятник сохраняет неизменной плоскость своего движения. Правда, спустя три года Маженон выдвинул предположение, что «студенистая машина» по своей природе нечто живое. Но Гравинский датировал период биологических гипотез девятью годами позже, когда большинство ученых стало разделять мнение Маженона.

В последующие годы были распространены теории живого Океана, весьма сложные, детально разработанные, подкрепленные биоматематическим анализом. Затем наступил третий период, когда единый фронт ученых распался. Тогда образовалось много школ, нередко яростно боровшихся между собой. Это было время деятельности Панмаллера, Штробля, Фрейгауза, Ле-Грея, Осиповича. Все наследие Гизе подвергалось уничтожающей критике, появились первые атласы, каталоги, стереофотографии асимметриад, которые до тех пор считались образованиями, не поддающимися изучению. Перелом наступил благодаря новой аппаратуре с дистанционным управлением, ее направляли в клокочущие глубины исполинов, грозящих взорваться в любую

секунду.

В общих шумных спорах стали раздаваться отдельные робкие голоса минималистов: если даже не удастся установить пресловутый контакт с «разумным чудовищем», то исследования застывших городов мимоидов и шарообразных гор, которые Океан извергает, чтобы вновь поглотить, позволят получить, безусловно, ценные химические и физико-химические данные, новые сведения о строении молекул-гигантов. Но никто даже не удостоил вниманием глашатаев этих идей.

Ведь именно в этот период появились актуальные до наших дней каталоги типичных превращений, биоплазматическая теория мимоидов Франка (хотя и отброшенная как неверная, она до сих пор — образец широты мышления и блестящей логики).

«Период Гравинского», насчитывающий в итоге более тридцати лет, — время наивной молодости, стихийного оптимистического романтизма, наконец, зрелой соляристики, отмеченной первыми скептическими голосами. Уже в конце двадцатилетия возникли гипотезы о непсихологическом характере Океана. Это был возврат к первым коллоидно-механистическим теориям,

как бы продолжение их. Тогда поиски проявления сознательной воли, целенаправленности процессов, действий, мотивированных внутренними потребностями Океана, были объявлены заблуждением целого поколения ученых. Со временем эти утверждения были разбиты с публицистической страстностью, что подготовило почву для трезвых, аналитически обоснованных, сосредоточенных на скрупулезной фактографии исследований группы Холдена, Ионидеса, Столиво. Это была эпоха стремительного разбухания архивов, микрофильмов, картотек, огромного числа экспедиций, богато оснащенных всевозможными приборами, самопишущими регистраторами, оптиметрами, зондами — всем, что только могла предоставить Земля. Были годы, когда в исследованиях принимали участие одновременно более тысячи человек. Темп бесконечного нагромождения материалов все еще возрастал, а воодушевление ученых уже пошло на спад. Еще в оптимистический период начался закат экспериментальной соляристики, временные рамки которого трудно определить.

Этот период характеризовали прежде всего такие яркие, смелые индивидуальности, как Гизе, Штробль или Севада. Севада — последний

из великих соляристов — погиб при таинственных обстоятельствах в районе Южного полюса планеты. Ошибка, которую он допустил, непростительна даже для новичка. На глазах у сотни наблюдателей он направил летательный аппарат, скользивший низко над Океаном, в глубь «мелькальца», который явно уступал ему дорогу. Говорили о внезапном приступе слабости, обмороке или неисправности рулевого управления; на самом деле, как я теперь думаю, это было первое самоубийство, первый явный взрыв отчаяния.

И не последний. Но у Гравинского ничего об этом не сказано, я сам вспоминал даты, факты и подробности, глядя на пожелтевшие страницы. Впрочем, патетических покушений на самоубийство потом больше не было. Исчезли и яркие индивидуальности.

Никто не исследовал, почему те или иные ученые посвящают себя определенной области планетологии. Люди огромных способностей и большой силы воли рождаются достаточно часто, но предугадать их жизненный выбор нельзя. Их участие или неучастие в какой-то области исследований зависит, пожалуй, лишь от открывающихся в ней перспектив. По-разному оценивая классиков соляристики, никто

не может отказать им в величии, а порой и в гениальности. Самых лучших математиков, физиков, знаменитостей в области биофизики, теории информации, электрофизиологии целые десятилетия притягивал к себе молчаливый гигант. И вдруг армия исследователей из года в год стала терять своих полководцев. Осталась серая, безымянная масса терпеливых собирателей, компиляторов, незаурядных экспериментаторов, но уже не было многочисленных, в масштабе планеты задуманных экспедиций, смелых, обобщающих гипотез.

Соляристика явно приходила в упадок, и, как следствие этого, рождались бесконечные, отличающиеся лишь второстепенными деталями гипотезы о дегенерации, регрессии, инволюции солярийских морей. Время от времени появлялись более смелые, интересные заключения, но во всех высказывалось мнение, будто Океан, признанный конечным продукт развития, давно, тысячелетия назад, пережил период наивысшей организации, а теперь, объединенный только физически, распадается на многочисленные ненужные, бессмысленные, умирающие образования. Монументальная, веками длившаяся агония — так воспринимали Солярис. Видя в

«долгунах» или мимоидах признаки новых образований, искали в процессах, происходящих в жидкой туше, проявления хаоса и анархии. Такое направление стало маниакальным, и вся научная литература последующих семи-восьми лет, хотя, естественно, и не употребляла определений, открыто выражавших чувства авторов, представляла собой град оскорблений — это была месть за осиротевшее, лишенное полководцев, беспросветное дело соляристов, к которому объект их исследований оставался по-прежнему равнодушным; он по-прежнему игнорировал их присутствие.

Я знал не включенные в этот каталог соляристической классики (по-моему, несправедливо) оригинальные работы десятка европейских психологов. Они длительное время изучали общественное мнение, коллекционировали самые заурядные, порой некомпетентные высказывания и установили удивительную зависимость отношения неспециалистов к этому вопросу от процессов, происходящих в кругу ученых.

В сфере координирующей группы Института планетологии, там, где решался вопрос о материальной поддержке исследований, тоже происходили изменения — постоянно, хотя и

постепенно, сокращался бюджет соляристических институтов и учреждений, финансирование экспедиций на планету.

Голоса о необходимости сокращения исследований перемежались с требованиями использовать более действенные средства. Наиболее максималистскими были требования административного директора Всеземного космологического института. Директор настойчиво твердил, что живой Океан не игнорирует людей, он просто их не замечает, как слон — муравья, ползущего у него по спине, и, чтобы привлечь внимание и сконцентрировать его на нас, нужны мощные раздражители и машины-гиганты всепланетного масштаба. Любопытно, ехидно подчеркивала пресса, что на таких дорогостоящих мероприятиях настаивал директор космологического института, а не Института планетологии, который финансировал соляристические исследования. Это была щедрость за чужой счет.

А потом круговорот гипотез — немного обновленных, несущественно измененных, забвение одних или преувеличенное внимание к другим — заводил соляристику, до сих пор ясную, несмотря на многочисленные ответвления, во все более темные, беспросветные закоулки лабиринта. В

атмосфере всеобщего равнодушия, застоя, разочарования другой океан — океан бесплодных публикаций соперничал с солярийским.

Года за два до того, как я, выпускник Института, стал работать в лаборатории Гибаряна, был основан фонд Метта — Ирвинга, предназначенный для поощрения тех, кто найдет способ использовать для нужд человека энергию океанического глея. Это прельщало и раньше, и не раз космические корабли доставляли на Землю грузы плазматического студня. Изучали долго и терпеливо методы его консервирования, применяя высокие или низкие температуры, искусственные микроатмосферу и микроклимат, соответствующие солярийским, фиксировали облучение, использовали тысячу химических реактивов, — и все для того, чтобы наблюдать более или менее вялый процесс распада, конечно, как и все прочие, многократно описанный добросовестнейшим образом в различных стадиях: самоистребления, высыхания, разжижения, первичного и вторичного, раннего или позднего. К аналогичным результатам приводили все пробы, взятые из разных частей Океана и образований плазмы. Отличались только пути, ведущие к конечному результату. Конец был один: легкая, как

пепел, металлически поблескивающая, истонченная аутоферментацией субстанция. Ее состав, соотношение элементов и химические формулы мог назвать даже во сне любой солярист.

Вне планеты сохранить жизнь — или хотя бы временную вегетацию (даже при сверхнизких температурах) — большей или меньшей частицы чудовища не удавалось. Эта неудача положила начало теории, разработанной школой Менье и Пророка, провозгласившей, что надо разгадать одну-единственную тайну, подобрать к ней подходящий ключ, и тогда станет ясным все.

В поисках этого ключа, философского камня Солярис напрасно тратили время и энергию люди, часто не имеющие никакого отношения к науке. В четвертом десятилетии существования соляристики развелось огромное количество комбинаторов-маньяков, вышедших из кругов, не связанных с наукой, одержимых своей страстью сильнее, чем их предшественники — пророки «перпетуум-мобиле» и «квадратуры круга». Это уже носило характер эпидемии и беспокоило психологов. Однако через несколько лет страсти поутихли. Когда я готовился к полету на Солярис, проблема Океана и шумиха, поднятая вокруг нее, уже давно не заполняли газетных страниц,

вопросы эти больше не обсуждались.

Книги на полках располагались в алфавитном порядке, и когда я ставил на место том Гравинского, то наткнулся на маленькую брошюрку Граттенстрома, едва заметную среди фолиантов. Работа Граттенстрома — тоже один из курьезов соляристики. Книга направлена — в борьбе за понимание сверхчеловеческого — против самих людей, против человека, это своеобразный пасквиль на род человеческий, злобная, несмотря на математическую сухость, работа самоучки. Вначале он опубликовал ряд необыкновенных дополнений к некоторым весьма специфическим и второстепенным разделам квантовой физики. В своем главном, хотя и насчитывающем всего несколько страниц, из ряда вон выходящем произведении он пытался показать, что наука, даже на первый взгляд наиболее абстрактная, предельно теоретическая, математически обоснованная, в действительности достигла немногого — на шаг или два отделилась от доисторического, грубо-чувственного, антропоморфического понимания окружающего нас мира. Отыскивая в уравнениях теории относительности, в теоремах силовых полей, парастатике, гипотезе единого космического поля следы плоти, все, что является

производным наших органов чувств, строения нашего организма, ограниченности и убожества животной физиологии человека, Граттенстром делал окончательный вывод — ни о каком «контакте» с нечеловекоподобными цивилизациями не может быть и речи ни сейчас, ни в будущем. В пасквиле на весь род человеческий ни разу не упоминался мыслящий Океан, но его присутствие, в форме презрительно торжествующего умолчания, чувствовалось почти в каждой фразе. Во всяком случае, знакомясь первый раз с брошюрой Граттенстрома, я так ее воспринял. Это была какая-то странная работа, не имеющая отношения к соляристике в обычном понимании. Она находилась в классическом собрании только потому, что туда ее поместил сам Гибарян, он же первый дал мне ее почитать.

С чувством, похожим на уважение, я осторожно поставил на полку тонкий, без обложки оттиск. Я дотронулся до зелено-коричневого «Соляристического альманаха». При всем хаосе, при всей безнадежности, окружавшей нас, нельзя отрицать, что, благодаря пережитому в течение нескольких суток, мы разобрались в ряде основных проблем, годами служивших темой бесплодных споров, на решение которых было

изведено море чернил.

Человек упрямый и склонный к парадоксам мог по-прежнему сомневаться в том, что Океан — живой. Но опровергнуть существование его психики — безразлично, что понимать под этим словом, — было уже нельзя. Стало очевидным, что Океан отзывается на наше присутствие. Такое утверждение отвергало целое направление в соляристике, провозглашавшее, что Океан — «мир в себе», «жизнь в себе»; что в результате повторного отмирания он лишен существовавших когда-то органов чувств и поэтому никак не реагирует на внешние явления или объекты; что Океан сосредоточен лишь на круговращении гигантских мыслительных течений, источник, творец и создатель которых находится в бездне, бурлящей под двумя солнцами.

Кроме того, мы установили, что Океан умеет то, чего мы сами не умеем: он искусственно синтезирует человеческое тело и даже усовершенствует его, непостижимым образом изменяя субатомную структуру — вероятно, в зависимости от поставленной цели.

Итак, Океан существовал, жил, думал, действовал. Возможность свести «проблему Солярис» или к бессмыслице, или к нулю, мнение, что Океан

— отнюдь не Существо, а поэтому мы ничего или почти ничего не проигрываем, — все зачеркивалось навсегда. Теперь люди, желают они того или нет, должны учитывать такое соседство на пути их экспансии, хотя постичь его труднее, чем всю остальную Вселенную.

Вероятно, мы находимся на поворотном этапе истории, думал я. Решение отступить, отойти могло быть актуальным сейчас или в недалеком будущем; даже ликвидацию самой Станции я считал возможной и вполне реальной. Я только не верил, что это принесет какое-то облегчение. Само существование мыслящего исполина всегда будет волновать человека. Исколеси мы всю Галактику, установи Контакт с другими цивилизациями похожих на нас существ — Солярис всегда будет вызовом, брошенным человеку.

И еще один небольшой том в кожаном переплете затерялся среди выпусков «Альманаха». Я рассмотрел переплет, потемневший от прикосновения рук, потом открыл старую книгу: это было «Введение в соляристику» Мунциуса. Мне вспомнилась ночь, проведенная за чтением книги, и улыбка Гибаряна, когда он давал мне свой экземпляр, и земной рассвет в окне, когда я дочитал старую книгу. «Соляристика, — писал Мунциус,

— своего рода религия космического века, вера в облачении науки. Контакт, цель, к которой мы стремимся, так же туманна и нелепа, как житие святых, как приход Мессии. Наши исследования — это литургия в методологических формулах; смиренная работа ученых — ожидание благовещения. Ведь нет и не может быть никакой связи между Солярисом и Землей. Эти факты и многие другие — отсутствие общего опыта, единых понятий, которыми можно было бы обменяться, — соляристы отметают, как верующие отметали аргументы, опровергающие их веру. Впрочем, на что люди надеются, чего они ожидают от «установления информационной связи» с мыслящими морями? Перечня переживаний, связанных с существованием, бесконечным во времени, существованием столь древним, что, пожалуй, сами моря не помнят собственного начала? Описания желаний, страстей, надежд и страданий, рождающихся в живых горах при моментальных образованиях, превращения математики — в бытие; одиночества и смирения — в сущность. Но все эти знания невозможно ни передать, ни переложить на какой-либо земной язык. Любые поиски ценностей и значения будут напрасны. Впрочем, не таких, скорее поэтичных, чем науч-

ных, откровений ожидают сторонники Контакта. Даже не признаваясь себе в этом, они ожидают откровения, которое раскрыло бы перед ними суть самого человека! Соляристика — возрождение давно умерших мифов, яркое проявление мистической тоски, о которой открыто, в полный голос, человек говорить не решается. А надежда на искупление — глубоко скрытый краеугольный камень всего здания соляристики...

Но неспособные признать эту правду соляристы старательно обходят любое толкование Контакта. Они причислили его к лику святых, с годами он стал для них вечностью и небом, хотя вначале, при трезвом еще подходе, Контакт был основой, вступлением, выходом на новую дорогу, одну из многих дорог...»

Прост и горек анализ Мунциуса, этого «еретика» планетологии, блестящего в отрицании, в развенчании солярийского мифа, мифа о миссии человека. Первый голос, который посмел раздаться еще в романтический период развития соляристики, в период полного доверия, все проигнорировали, никто на него не откликнулся. Все это понятно, ведь если принять утверждения Мунциуса, то надо было бы перечеркнуть ту соляристику, которая существовала. Новая, иная

соляристика, трезвая, бесстрастная, напрасно ждала своего основоположника. Через пять лет после смерти Мунциуса, когда его книга стала библиографической редкостью, ее нельзя было найти в собраниях ни по соляристике, ни по философии, появилась школа его имени, образовался круг норвежских ученых. Среди последователей Мунциуса было несколько ярких индивидуальностей, по-своему разрабатывавших его наследие. Спокойное изложение Мунциуса сменилось у Эрла Эннессона язвительной иронией; у Фаэланги оно превратилось в какую-то опошленную, потребительскую, иначе — утилитарную соляристику. Фаэланга стремился сконцентрировать все внимание на конкретной пользе, какую можно получить из исследований, и отбросить все фантастические надежды на Контакт, на связь двух интеллектов. Рядом с безжалостным, четким анализом Мунциуса работы всех его духовных учеников выглядят, однако, второстепенными, если не просто популяризаторскими, исключение составляют только произведения Эннессона и, пожалуй, Такаты. Собственно, Мунциус сам довел все до конца, назвав первый период соляристики периодом «пророков» (к ним он причислял Гизе, Голдена, Севаду), второй — «великим расколом»

(тогда единая соляристская вера распалась на множество борющихся между собой сект). Мунциус предвидел и третий период — догматизма и схоластического окостенения, который наступит, когда будет изучено все, что только можно изучить. Но этого не произошло.

Гибарян, думал я, был все же прав, считая рассуждения Мунциуса чрезвычайным упрощением, оставляющим в стороне все, что контрастировало в соляристике с элементами веры; в соляристике, утверждал Гибарян, самое важное не вера, а кропотливый, будничный труд, исследования конкретной, материальной планеты, вращающейся вокруг двух солнц.

В книге Мунциуса лежал сложенный вдвое, совсем пожелтевший оттиск из ежеквартального журнала «Дополнения к соляристике», одна из первых работ Гибаряна, которую он написал, еще не будучи руководителем Института. После названия «Почему я стал соляристом» шло краткое, почти конспективное перечисление явлений, доказывающих реальную возможность Контакта. Ведь Гибарян принадлежал к тому, пожалуй, последнему поколению исследователей, у которых хватило смелости принять эстафету первых успехов соляристики и не отречься от своеобразной,

выходящей за пределы науки веры, впрочем, вполне материалистической, веры в плодотворность усилий, если они достаточно упорны и продолжительны. Гибарян исходил из хорошо известных, классических исследований биоэлектроников евразийской школы: Хо Ен Мина, Нгъяли и Кавакадзе; их работы продемонстрировали, что существует некоторое сходство между электрическими импульсами и определенными разрядами энергии, происходящими в плазме Океана, которые предшествуют возникновению таких образований, как полиморфы (в зачаточных стадиях) и близнецы-соляриды. Гибарян отбросил антропоморфические интерпретации, всяческие мистификации психоаналитических, психиатрических, нейрофизиологических школ, которые пытались перенести на глеевый Океан человеческие заболевания, например эпилепсию (аналогию которой они видели в судорожных извержениях асимметриад). Он был среди сторонников Контакта одним из наиболее осторожных и трезвых ученых и совершенно не выносил сенсаций, которые, правда, все реже сопутствовали тому или иному открытию. Кстати, такой дешевой сенсацией стала моя дипломная работа. Она находилась где-то здесь, в библиотеке. Работа,

конечно, была не опубликована, а просто снята на пленку и хранилась среди микрофильмов. В своей работе я опирался на любопытные исследования Бергмана и Рейнольдса. Им удалось из мозаики разнообразных процессов выделить и «отфильтровать» компоненты, сопровождающие самые сильные эмоции: отчаяние, скорбь, наслаждение. Я же сопоставил эти данные с разрядами океанических токов, определил амплитуду и профили кривых (на определенных участках сводов симметриад, у основания незрелых мимоидов и др.) и обнаружил между ними аналогию, заслуживающую внимания. Тут же в бульварной прессе появились об этом статейки под дурацкими названиями, вроде «Студень в отчаянии» или «Планета в оргазме».

Но все это мне только помогло (так, по крайней мере, я полагал до недавних пор). Гибарян, как любой другой солярист, не читал всех работ по соляристике (их выходили тысячи), а тем более работ новичков. Но на меня он обратил внимание, и я получил от него письмо. Это письмо завершило одну и начало другую главу моей жизни.

Сновидения

Океан никак не реагировал на наш эксперимент, и через шесть дней мы его повторили. Станция, до сих пор висевшая неподвижно на пересечении сорок третьей параллели со сто шестнадцатым меридианом, поплыла, оставаясь на высоте четырехсот метров над уровнем Океана, в южном направлении, где, по данным радарных датчиков и радиограмм Сателлоида, активность плазмы значительно возросла.

Двое суток модулируемый моей энцефалограммой пучок лучей наносил с интервалами в несколько часов невидимые удары по почти совсем гладкой поверхности Океана.

К исходу вторых суток мы были у самого полюса. Не успевал диск голубого солнца скрыться за горизонтом, как на противоположной стороне тучи наливались пурпуром, предвещая восход красного. Безбрежная чернота Океана и пустое небо над ним заполнялись тогда ослепительной игрой красок: резкие, ядовито-зеленые, блещущие расплавленным металлом лучи сталкивались с приглушенными пурпурными

сполохами, Океан пересекали отблески двух противостоящих дисков, двух пылающих очагов — ртутно-синего и багряного. Стоило появиться в зените самому легкому облачку, и блики на тяжелой пене, стекавшей с гребней волн, становились неправдоподобно радужными.

Сразу же после захода голубого солнца на северо-западе показалась симметриада — о ней уже предупредили сигнализаторы. Она еле виднелась в рыжеватом тумане и лишь зеркально поблескивала, словно гигантский стеклянный цветок, выросший там, где небо сливалось с океанской пеной. Станция не изменила курса, и четверть часа спустя мерцавший рубиновым светом колосс опять скрылся за горизонтом. Прошло еще несколько минут, высокий тонкий столб, основание которого было скрыто от нас, беззвучно поднялся в атмосфере на несколько километров, свидетельствуя о гибели симметриады. Одна половина столба пылала кровавым светом, а другая отливала ртутью; он разросся в двухцветное дерево, потом превратился в грибовидное облако, верхняя часть его в лучах двух солнц исчезала, уносимая ветром, а нижняя, растянувшись гроздьями на треть горизонта, медленно опадала. Через час от этой картины не осталось и следа.

Прошло еще двое суток, эксперимент был повторен в последний раз, рентгеновские лучи искололи уже немалую часть Океана. На юге показались отлично просматривавшиеся с нашей высоты, несмотря на трехсоткилометровое расстояние, Арреииды — цепь из шести скалистых вершин. Пики Арренид казались обледеневшими, но на самом деле их покрывал налет органического происхождения — горная цепь была когда-то дном Океана.

Мы изменили курс, направившись на юго-восток, и некоторое время следовали вдоль горного барьера, сливавшегося с тучами, типичными для красного дня; потом все исчезло. Со времени первого эксперимента прошло десять дней.

За все это время на Станции ничего не случилось. Автоматическая аппаратура повторяла эксперимент по разработанной Сарториусом программе, и я даже не уверен, контролировал ли кто-нибудь действия автоматов. И все-таки на Станции что-то происходило. Впрочем, не между людьми. Я опасался, что Сарториус потребует опять приступить к работе над аннигилятором; кроме того, я ждал, как прореагирует Снаут, узнав от Сарториуса, что я обманул его, преувеличивая опасность, которую могло повлечь за собой

уничтожение нейтринной материи. Однако ничего подобного не последовало, и я первое время терялся в догадках, не понимая, в чем дело. Конечно, я предполагал какую-то ловушку, думал, что подготовка и сами работы держатся в тайне, и поэтому ежедневно заглядывал в помещение без окон под главной лабораторией — там находился аннигилятор. Я ни разу никого не застал; судя по слою пыли, покрывавшему защитный кожух и кабели, к аппаратуре много недель никто не прикасался.

Снаут, подобно Сарториусу, пропал из виду, и с ним нельзя было связаться — его видеофон не отвечал на вызовы. Кто-то, должно быть, управлял движением Станции, но кто именно — не могу сказать, меня это, как ни странно, просто не интересовало. Мне было абсолютно безразлично и то, что Океан не реагировал на опыты; через два-три дня я не только перестал ждать или бояться какой-либо реакции, а вообще забыл и о ней, и об эксперименте. Целые дни я проводил в библиотеке или в кабине вместе с Хэри, следовавшей за мной как тень. Я видел, что наши дела неважны и что такое состояние тупой апатии не может тянуться до бесконечности. Надо было как-то преодолеть его, что-то изменить в наших отноше-

ниях, но я, не в силах принять никакого решения, отгонял от себя даже мысль о перемене. Могу объяснить это лишь одним — мне казалось, что все на Станции, а особенно наши отношения с Хэри, пребывает в состоянии чрезвычайно неустойчивого равновесия и от любого толчка рухнет. Почему? Не знаю. Удивительно, что Хэри испытывала такое же чувство. Когда я думаю об этом теперь, мне представляется, что неуверенность, неустойчивость, предчувствие грозящего землетрясения были вызваны неким пронизывающим всю Станцию присутствием, которое ничем иным себя не обнаруживало. Хотя, возможно, на присутствие указывало кое-что еще, а именно сны. Ни раньше, ни потом — никогда у меня не было таких видений, поэтому я решил записывать их. Благодаря записям я теперь могу попытаться рассказать о своих снах, но рассказ мой будет отрывочным и лишенным непередаваемого разнообразия видений. Каким-то непостижимым образом в пространстве, лишенном неба, земли, пола, потолка, стен, я, не то скорчившийся, не то связанный, оказывался в некоей чуждой мне субстанции, врастал в неживую, неподвижную, бесформенную глыбу, а может, я сам становился глыбой, тела у меня не было, меня окружали едва

различимые розовые пятна, плававшие в среде, которая по оптическим свойствам отличалась от воздуха: только на очень близком расстоянии вещи приобретали отчетливые — даже слишком, неестественно отчетливые — очертания. Вообще в моих снах окружающее было гораздо более конкретным и материальным, чем наяву. Просыпаясь, я испытывал странное чувство: реальностью, подлинной реальностью было сновидение, а то, что я видел, открыв глаза, — лишь ее смутной тенью. Таково было начало, тот клубочек, из которого разматывалась нить сновидения. Вокруг меня что-то ждало разрешения, моего внутреннего согласия, а я ощущал — что-то во мне ощущало — я не должен поддаваться непонятному искушению, ведь чем больше соблазн, тем страшнее конец. Собственно, я не знал этого. Если бы я знал, то боялся бы, а страха я не испытывал. Я ждал. Из розового тумана вокруг меня рождалось первое прикосновение, я, неподвижный, как колода, увязший в поглощавшей меня массе, не мог ни отодвинуться, ни пошевельнуться, а то ощупывало мою тюрьму незрячими и одновременно видящими прикосновениями и становилось созидающей меня дланью. До этой минуты я был слеп, и вот я начинаю видеть: под

пальцами, ощупывающими мое лицо, рождаются из ничего мои губы, щеки, и, по мере того как это разделенное на бесконечно малые доли прикосновение расширяется, у меня появляются и лицо, и дышащая грудь, вызванные из небытия этим актом созидания — взаимным, ибо и я, созидаемый, созидаю, — и возникает лицо, которого я никогда в жизни не видел, чужое и знакомое, я пытаюсь заглянуть ему в глаза, но не могу — все пропорции искажены, нет никаких направлений, просто в молитвенном молчании мы открываем друг друга и становимся друг другом. И вот я уже стал самим собой, но возведенным в степень бесконечности, а то второе существо — женщина? — застыло вместе со мной. В нас бьется один пульс, мы — единое целое, и вот в эту замедленную сцену, вне которой ничего не существует и не может существовать, закрадывается нечто необыкновенно жестокое, невозможное, противоестественное. Прикосновение, создавшее нас и золотым покровом окутавшее наши тела, превращается в мириады беспощадных жал. Тела наши, нагие и белые, расплываются, чернеют, покрываются полчищами червей... И вот уже я становлюсь — мы становимся — я становлюсь блестящим, свивающимся и расплетающимся

вновь, лихорадочно извивающимся клубком, не кончающимся, нескончаемым; и в этой бесконечности я сам, бесконечный, вою без единого звука, моля о конце, и вдруг как раз в это время разбегаюсь, сразу во все стороны, и во мне растет страдание, во сто крат более сильное, чем наяву, сосредоточенное где-то в черных и багряных далях, страдание, то твердое как скала, то пылающее огнем иного солнца и иных миров.

Это самый простой из снов, остальные рассказать я не сумею — ужас, пережитый в них, нельзя сравнить ни с чем на свете. Во сне я ничего не знал о существовании Хэри, дневные впечатления и переживания вообще не отражались в моих сновидениях.

Были и другие сны, когда в застывшей, мертвой темноте я чувствовал себя объектом кропотливых, неторопливых исследований, без каких-либо известных нам инструментов; это было проникновение, раздробление, растворение, вплоть до абсолютного исчезновения, а за всем этим — за молчанием, за постепенным уничтожением — стоял страх: наутро при одном воспоминании о нем сердце начинало колотиться.

А дни тянулись — однообразно, сонно, бесцветно, принося с собой тоскливое отвращение ко

всему. Боялся я только ночей, но не знал, как спастись от них. Хэри могла совсем не спать, и я тоже старался бодрствовать. Я целовал и ласкал ее, понимая, что дело тут не в ней и не во мне, мне просто страшно заснуть. Хотя я ни слова не говорил Хэри о своих кошмарах, она, вероятно, о чем-то догадывалась: в ее покорности я ощущал невысказанную обиду и чувство унижения, но ничего не мог с этим поделать. Я уже сказал, что за все время не виделся ни со Снаутом, ни с Сарториусом. Однако Снаут раз в несколько дней давал о себе знать — иногда запиской, а чаще вызовом по видеофону. Он спрашивал, не заметил ли я какого-либо нового явления, каких-либо перемен, чего-нибудь, что могло быть реакцией на столько раз повторенный эксперимент. Я отвечал отрицательно и сам спрашивал о том же. Снаут на экране только качал головой.

На пятнадцатый день после окончания экспериментов я проснулся раньше, чем обычно, настолько измученный кошмарами, что никак не мог прийти в себя, будто после глубокого наркоза. Сквозь незаслоненный иллюминатор падали первые лучи красного солнца. Река пурпурного огня пересекала гладь Океана, и я заметил, что до сих пор безжизненная поверхность его постепен-

но мутнеет. Она уже не была черной, побелела, словно ее окутала легкая дымка; на самом деле дымка была довольно плотной. То там, то сям возникало волнение, потом неопределенное движение охватило все видимое пространство. Черную поверхность закрыли пленки, светло-розовые на гребнях волн и жемчужно-коричневые во впадинах. Сначала игра красок создавала из этого странного океанского покрова длинные ряды застывших волн, потом все смешалось, весь Океан покрылся пеной, огромные лоскутья пены поднимались вверх и под Станцией, и вокруг нее. Со всех сторон одновременно взвивались в рыжее, пустое небо перепончатокрылые пенные облака, не похожие на обычные тучи. Края их надувались, как воздушные шары. Одни, на фоне низко пылавшего над горизонтом солнечного диска, казались угольно-черными, другие, в зависимости от того, под каким углом освещали их лучи восхода, вспыхивали рыжими, вишневыми, малиновыми отблесками. Казалось, Океан шелушится, кровавые хлопья то открывали черную поверхность, то заслоняли ее новым налетом затвердевшей пены. Некоторые образования устремлялись вверх, проходя совсем близко, всего в нескольких метрах от иллюминаторов,

а одно шелковистым на вид краем даже задело стекло. Те рои, которые взлетели первыми, уже едва виднелись, словно разлетевшиеся птицы — расплывались, таяли в зените.

Станция остановилась и пробыла на одном месте около трех часов, а необычное явление не прекращалось. Солнце уже опустилось за горизонт, Океан под нами окутала тьма, а мириады легких, розовеющих силуэтов бесконечными вереницами все уходили и уходили в небо, будто, невесомые, скользили по невидимым струнам. Небывалое вознесение разодранных крыльев продолжалось до полной темноты.

Безмятежно величавое явление потрясло Хэри, но я не мог его объяснить: для меня, соляриста, оно было столь же ново и непонятно, как и для нее. Впрочем, формы и образования, не отмеченные нигде в систематике, можно наблюдать на Солярис два-три раза в год, а если повезет — то и чаще.

На следующую ночь, приблизительно за час до восхода голубого солнца, мы стали свидетелями еще одного феномена: Океан фосфоресцировал. Сначала на его невидимой во тьме поверхности появились кое-где пятна света, а точнее, слабое свечение, белесое, расплывчатое, двигавшееся

вместе с волнами. Пятна сливались, увеличивались, наконец, призрачное сияние достигло линии горизонта. Интенсивность свечения нарастала в течение приблизительно пятнадцати минут, потом все закончилось удивительным образом: Океан стал угасать, с запада надвигался фронт темноты шириной в несколько сотен миль, а когда он достиг Станции и миновал ее, еще светившаяся часть Океана стала выглядеть, как отступившее на восток, стоящее высоко в небе зарево. Достигнув самого горизонта, зарево стало похоже на северное сияние и сразу исчезло. Вскоре снова взошло солнце, и опять под ним расстилалась безжизненная пустыня, чуть тронутая морщинами волн, посылавших ртутные отблески в иллюминаторы Станции. Свечение Океана описывалось уже не раз; в ряде случаев его наблюдали перед взрывом асимметриад, вообще же оно было типичным признаком локального усиления активности плазмы. Однако в течение следующих двух недель ни на Станции, ни за ее пределами ничего не произошло. Только раз, среди ночи, я услышал — доносившийся одновременно ниоткуда и отовсюду — далекий крик, необычайно высокий, резкий и протяжный, словно во сто крат усиленный плач младенца.

Внезапно очнувшись от кошмара, я долго лежал, вслушиваясь, не совсем уверенный, не снится ли мне и этот крик. Накануне из лаборатории, частично расположенной над нашей кабиной, доходили приглушенные отзвуки, словно там передвигали тяжелый груз или аппаратуру; мне показалось, что крик тоже раздается наверху, впрочем, непонятно было, как он проходит сквозь звуконепроницаемый слой, разделяющий оба яруса. Этот предсмертный вопль длился почти полчаса. Обливаясь потом, почти обезумев, я хотел уже броситься наверх — нервы мои не выдержали. Но тут вопль утих, и снова слышно было, как передвигали что-то тяжелое.

Два дня спустя, вечером, когда мы с Хэри сидели в маленькой кухне, неожиданно вошел Снаут. На нем был костюм, самый настоящий, такой, какие носят на Земле, в нем Снаут выглядел иначе — выше и старше. Не обращая на нас внимания, он подошел к столу, наклонился над ним и, стоя, начал есть с хлебом холодные мясные консервы прямо из банки. Снаут задевал банку рукавом, на нем оставались жирные пятна.

— Ты весь перемажешься, — предупредил я.

— М-мм? — промычал он с набитым ртом.

Снаут ел так, словно у него несколько дней ни

крошки во рту не было, потом налил себе полстакана вина, выпил залпом, вытер губы и, переведя дух, посмотрел на нас воспаленными глазами. Повернувшись ко мне, Снаут проворчал:

— Бороду отпускаешь?.. Ну-ну...

Хэри гремела посудой в раковине. Снаут покачивался на каблуках, морщился, громко причмокивал, стараясь избавиться от застрявших в зубах крошек. По-моему, он это делал нарочно.

— Бриться не хочется, да? — спросил Снаут, назойливо разглядывая меня.

Я не ответил.

— Смотри! — добавил он немного погодя. — Советую тебе. Гибарян тоже не хотел бриться.

— Иди спать, — огрызнулся я.

— И не подумаю! Давай-ка потолкуем. Слушай, Кельвин, а может, он к нам хорошо относится? Может, он хочет нас осчастливить, только пока не знает как? Он читает в нашем мозгу желания, а ведь лишь два процента нервных процессов осознаются. Значит, он знает нас лучше, чем мы сами. Поэтому его нужно слушаться. Нужно соглашаться с ним. Понимаешь? Ты не хочешь? Почему, — захныкал Снаут, — почему ты не бреешься?

— Перестань, — пробормотал я, — ты пьян.

— Что? Пьян? Я? А почему бы и нет? Неужели человек, который тащился со всеми своими потрохами из одного конца Галактики в другой, чтобы узнать, чего он стоит, не может напиться? Почему? Ты веришь в особую миссию человека, а, Кельвин? Гибарян, когда еще брился, рассказывал мне про тебя... Ты точь-в-точь такой, как он говорил... Только не ходи в лабораторию, а то еще потеряешь веру... там творит Сарториус, наш Фауст наоборот: он, видишь ли, ищет средство от бессмертия. Последний рыцарь святого Контакта, только такой и мог появиться среди нас... у него уже была неплохая идейка — длительная агония. Недурно, а? Agonia perpetua[4]... соломка... соломенные шляпы... Как ты можешь не пить, Кельвин?

Его глаза в щелочках опухших век уперлись в Хэри, неподвижно стоявшую у стены.

— О, пенорожденная Афродита... — высокопарно начал Снаут и поперхнулся смехом.

— Почти... так... Правда, Кельвин? — едва выговорил он, кашляя.

Я по-прежнему сохранял спокойствие, но оно постепенно переходило в холодное бешенство.

---

[4] notes: 4
Вечная агония (лат.).

— Брось! — прошипел я. — Уходи отсюда!

— Гонишь меня? Ты тоже? Бороду отпускаешь, меня гонишь? Тебе не надо ни предостережений, ни советов? А ведь я — верный товарищ по звездам. Кельвин, давай откроем донные люки и станем кричать ему туда, вниз, может, он услышит? Но как его зовут? Представляешь себе, мы попридумывали названия всем звездам и планетам, а может, у них уже были свои имена? Мы же узурпаторы! Слушай, пойдем туда! Станем кричать... Скажем ему, во что он нас превратил, пусть он испугается... построит нам серебряные симметриады, и помолится за нас своей математикой, и пошлет нам окровавленных ангелов, и его мука будет нашей мукой, его страх — нашим страхом, и нас станет он молить о конце. Ведь все это — и он сам, и то, что он делает, — мольба о конце! Почему ты не смеешься? Я ведь шучу. Если бы у людей было больше чувства юмора, может, до этого не дошло бы. Ты знаешь, чего хочет Сарториус? Он хочет наказать его, этот Океан, хочет заставить его кричать всеми горами сразу... Ты думаешь, у него не хватит смелости представить такой план ареопагу склеротиков, пославшему нас сюда искупать не нашу вину? Ты прав, он струсит... струсит из-за соломенной

шляпы. Про нее он никому не проболтается, на это у нашего Фауста не хватит храбрости...

Я молчал. Снаута все сильнее пошатывало. Слезы текли по его лицу, капали на костюм.

— Кто это сделал? Кто это с нами сделал? Гибарян? Гизе? Эйнштейн? Платон? Они же преступники! Подумай, ведь в ракете человек может лопнуть, как мыльный пузырь, или застыть, или изжариться, или так быстро истечет кровью, что даже и крикнуть не успеет, а потом только косточки будут греметь на орбитах Ньютона с поправкой Эйнштейна. Чем тебе не погремушки прогресса! А мы — браво, вперед по славному пути! И вот пришли и сидим в этих клетушках, над этими тарелками, среди бессмертных рукомойников, с отрядом верных шкафов и преданных клозетов... Осуществились наши мечты... посмотри, Кельвин. Я болтаю спьяна, но ведь должен кто-то это сказать. Должен же кто-то в конце концов... Ты, невинное дитя, сидишь здесь, на бойне, щетиной зарос... А кто виноват? Сам ответь...

Он медленно повернулся и вышел, схватившись на пороге за дверь, чтобы не упасть; из коридора доносилось эхо его шагов. Я старался не смотреть на Хэри, но неожиданно глаза наши встретились. Я хотел подойти к ней, обнять ее,

погладить по голове, но не смог. Не смог.

Удачный результат

Все дни трех последующих недель были похожи друг на друга — заслонки иллюминаторов опускались и поднимались, ночью один кошмар сменялся другим; утром мы вставали, и начиналась игра. Была ли это игра? Я притворялся спокойным, Хэри тоже; молчаливый уговор, заведомый, взаимный обман стали нашим последним прибежищем. Мы много говорили о том, как будем жить на Земле: поселимся где-нибудь около большого города и больше никогда не расстанемся с голубым небом и зелеными деревьями; вместе придумывали обстановку нашего будущего дома, обсуждали наш сад и даже спорили о деталях... — о живой изгороди, о скамейках... Верил ли я хоть секунду? Нет. Я знал, что это невозможно. Если даже Хэри покинет Станцию живой, то все равно не спустится на Землю: туда может прилететь только человек, а человек — это его документы. При первой же проверке закончилось бы наше путешествие. Они попытаются установить ее личность, разлучат нас, а это сразу же выдаст Хэри. Станция — единственное место,

где мы можем жить вместе. Догадывалась ли Хэри? Несомненно. Сказал ли ей кто-нибудь? В свете того, что произошло, пожалуй, да.

Однажды ночью сквозь сон я услышал, что Хэри тихо встает. Я хотел обнять ее. Только молча, лишь в темноте мы могли еще чувствовать себя свободными; в отчаянии, которое окружало нас со всех сторон, это забытье было кратковременной отсрочкой пытки. Хэри, по-моему, не заметила, что я очнулся. Не успел я протянуть руку, как она уже встала с постели. В полусне я услышал шлепанье босых ног. Мне почему-то стало страшно.

— Хэри, — шепнул я. Крикнуть я не решился.

Я сел на койке. Дверь в коридор была приоткрыта. Тоненькая полоска света наискосок пересекала комнату. Послышались приглушенные голоса. Она с кем-то разговаривает? С кем?

Я вскочил с постели, но вдруг снова испугался, ноги подкосились, я прислушался — все тихо. Медленно улегся я в постель. Голова раскалывалась. Я начал считать; дошел до тысячи; дверь бесшумно открылась; Хэри проскользнула в комнату и застыла, прислушиваясь к моему дыханию. Я старался дышать ровно.

— Крис?.. — шепотом позвала Хэри.

Я не откликнулся. Она быстро легла. Я чувствовал, что она боится шевельнуться, и лежал рядом без сил. Не знаю, сколько это длилось. Я попытался придумать какой-нибудь вопрос, но, чем больше проходило времени, тем яснее я сознавал, что не заговорю первым. Примерно через час я заснул.

Утро прошло как всегда. Я наблюдал за Хэри, когда она не могла этого заметить. После обеда мы сидели рядом напротив обзорного иллюминатора, за которым плыли низкие рыжие тучи. Станция скользила в них, как корабль. Хэри читала книгу, а я уставился в Океан. Теперь нередко это бывало моим единственным развлечением и отдыхом. Я обнаружил, что, если определенным образом наклонить голову, можно разглядеть в стекле наши отражения, прозрачные, но четкие. Я убрал руку с подлокотника. Хэри — я видел в стекле, — убедившись, что я засмотрелся в Океан, быстро наклонилась над подлокотником и прикоснулась губами к месту, где только что лежала моя рука. Я по-прежнему сидел неестественно прямо, Хэри склонилась над книгой.

— Хэри, — тихо сказал я, — куда ты выходила сегодня ночью?

— Ночью?

— Да.

— Что ты... тебе приснилось, Крис. Я никуда не выходила.

— Не выходила?

— Нет. Тебе приснилось.

— Наверное, — ответил я. — Да, наверное, мне приснилось...

Вечером, когда мы ложились спать, я снова начал говорить о нашем путешествии, о возвращении на Землю.

— Ах, не хочу об этом слышать, — проговорила Хэри. — Не надо, Крис. Ведь ты знаешь...

— Что?

— Да так, ничего.

Когда мы уже лежали, Хэри сказала, что ей хочется пить.

— Там на столе стоит стакан сока, принеси мне, пожалуйста.

Она отпила половину и протянула мне стакан. Мне пить не хотелось.

— За мое здоровье, — улыбнулась Хэри.

Я выпил сок, он показался мне немного солоноватым, но я не придал этому значения.

— О чем же нам говорить, если ты не хочешь говорить о Земле? — спросил я, когда Хэри погасила свет.

— Ты женился бы, если бы меня не было?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

— Почему?

— Не знаю. Десять лет я прожил один и не женился. Не надо об этом, дорогая...

В голове шумело, словно я выпил бутылку вина.

— Нет, давай поговорим, давай. А если бы я тебя попросила?

— Чтобы я женился? Глупости, Хэри. Мне никто не нужен, мне нужна только ты.

Хэри склонилась надо мной. Я ощущал ее дыхание на своих губах, она так крепко обняла меня, что невероятная сонливость на мгновение прошла.

— Скажи об этом иначе.

— Я люблю тебя.

Она уткнулась головой в мое плечо, я почувствовал, как дрожат ее веки, Хэри плакала.

— Хэри, что с тобой?

— Ничего. Ничего. Ничего, — повторяла она все тише. Я пытался открыть глаза, но они сами закрывались. Не знаю, когда я заснул.

Меня разбудил красный рассвет. Голова будто

налилась свинцом, шея не гнулась, словно одеревенела. Во рту пересохло, я не мог пошевелить языком. Может, я чем-то отравился, подумал я, с трудом поднимая голову. Я протянул руку в сторону Хэри и наткнулся на остывшую простыню.

Я вскочил.

Койка пуста, в комнате — никого. Солнце красными дисками отражалось в стекле. Я встал. Выглядел я, вероятно, смешно — качался как пьяный. Хватаясь за мебель, я дотащился до шкафа: в душевой — никого. В коридоре — тоже. В лаборатории — никого.

— Хэри!!! — закричал я посреди коридора, бессмысленно размахивая руками. — Хэри... — прохрипел я еще раз, обо всем уже догадавшись.

Не помню точно, что происходило потом. Кажется, я бегал полуголый по всей Станции, припоминаю, что заглядывал даже в трюм, потом в нижний склад и бил кулаками в закрытые двери. Возможно, я был там несколько раз. Трапы гудели, я падал, поднимался, снова мчался куда-то, добрался даже до прозрачного заграждения, за которым был выход наружу — двойные бронированные двери. Я толкал их изо всех сил и умолял, чтобы это оказался сон. Кто-то был рядом, тормошил меня, тянул куда-то. Потом я очутился

в малой лаборатории. На мне была мокрая холодная рубашка, волосы слиплись. Ноздри и язык обжигал спирт. Я полулежал, тяжело дыша, на чем-то металлическом, а Снаут в своих грязных полотняных брюках возился у шкафчика с лекарствами, переворачивая там что-то; инструменты и стекло ужасно гремели.

Вдруг я увидел Снаута около себя; он, наклонившись, внимательно заглядывал мне в глаза.

— Где она?

— Ее нет.

— Но... но Хэри...

— Нет больше Хэри, — медленно, четко произнес он, нагнувшись еще ниже к моему лицу, словно он ударил меня, а теперь хотел посмотреть, что из этого вышло.

— Она вернется, — прошептал я, закрывая глаза.

И впервые я больше ничего не боялся, не боялся призрачного возвращения, не понимая, как мог его когда-то бояться.

— Выпей.

Снаут подал мне стакан с теплой жидкостью. Я пригляделся к ней и вдруг выплеснул ему в лицо. Он отступил, протирая глаза; я подскочил к нему. Он был такой маленький.

— Это ты?!

— Ты о чем?

— Не ври, сам знаешь, о чем. Ты говорил с ней прошлой ночью? И велел ей дать мне вчера снотворное, чтобы... Что ты с ней сделал? Говори!!!

Снаут поискал что-то в нагрудном кармане, вынул помятый конверт. Я вырвал его. Конверт был заклеен, не надписан. Я вскрыл его. Выпал сложенный вчетверо листок. Крупный, немного детский, неровный почерк. Я узнал его.

> «Любимый, я его сама попросила. Он добрый. Ужасно, что мне пришлось обмануть тебя, иначе было нельзя. Ты можешь сделать для меня одно — слушайся его и береги себя. Ты замечательный».

Внизу стояло одно зачеркнутое слово, я сумел прочитать его: «Хэри». Она написала, потом замарала; была еще одна буква — не то Х, не то К — не разобрать. Я прочитал раз, другой. Еще раз. Я уже протрезвел, не мог ни кричать, ни стонать.

— Как? — прошептал я. — Как?

— Потом, Кельвин. Держи себя в руках!

— Я держусь. Говори! Как?

— Аннигиляция.

— Как? Ведь аппарат?.. — вырвалось у меня.

— Аппарат Роша не годился. Сарториус сделал другой, специальный дестабилизатор. Малый. Радиус действия — несколько метров.

— Что с ней?..

— Она исчезла. Вспышка и воздушная волна. Слабая волна — и все.

— Малый радиус действия, говоришь?

— Да. На больший не было материалов.

Стены вдруг стали падать на меня. Я закрыл глаза.

— Господи... она... вернется, ведь вернется...

— Нет.

— Почему?

— Не вернется, Кельвин. Ты помнишь вздымающуюся пену? После этого они не возвращаются.

— Никогда?

— Никогда.

— Ты убил ее, — тихо сказал я.

— Да. А ты бы не поступил так? На моем месте?

Я вскочил и стал метаться от стены до угла и обратно. Девять шагов. Поворот. Девять шагов. Я остановился перед Снаутом.

— Послушай, подадим рапорт. Потребуем прямой связи с Советом. Это можно сделать. Они согласятся. Должны. Планета будет исключена из Конвенции Четырех. Все средства допустимы. Ис-

пользуем генератор антиматерии. Думаешь, есть хоть что-то, что может противостоять антиматерии? Нет ничего! Ничего! Ничего! — победоносно кричал я, слепой от слез.

— Ты хочешь его уничтожить? — спросил Снаут. — Зачем?

— Уходи! Оставь меня!

— Не уйду.

— Снаут!

Я смотрел ему в глаза. Он покачал головой.

— Чего ты хочешь? Чего ты от меня добиваешься?

Снаут подошел к столу.

— Хорошо. Подадим рапорт.

Я отвернулся и снова заметался по комнате.

— Садись.

— Отстань от меня.

— Есть два вопроса. Первый — факты. Второй — наши желания.

— И об этом надо говорить именно сейчас?

— Да, сейчас.

— Не хочу, понимаешь? Мне на все наплевать!

— Последний раз мы послали сообщение перед смертью Гибаряна. Более двух месяцев назад. Мы обязаны подробно доложить о процессе появления...

— Ты замолчишь? — Я схватил его за руку.

— Бей меня, если хочешь, — сказал Снаут, — но я все равно не замолчу.

Я выпустил его руку.

— Делай что хочешь.

— Видишь ли, Сарториус попытается скрыть определенные факты. Я почти уверен в этом.

— А ты не станешь?

— Нет. Теперь нет. Это не только наше дело. Ты ведь понимаешь, о чем идет речь. Океан проявил способность к разумным действиям, способность к органическому синтезу наивысшего порядка, который нам неизвестен. Океан знает строение, микроструктуру, обмен веществ нашего организма...

— Хорошо, — начал я. — Почему ты замолчал? Океан провел на нас серию... серию опытов. Психическая вивисекция. Основанная на знаниях, похищенных у нас. Он не посчитался с тем, к чему мы стремимся.

— Кельвин, это уже не факты, даже не выводы. Это гипотезы. В каком-то смысле он считался с тем, чего хотела некая замкнутая, глубоко спрятанная часть нашего сознания. Это мог быть — подарок...

— Подарок! Господи!

Я засмеялся.

— Прекрати! — крикнул Снаут, хватая меня за руку. Я стиснул его пальцы. Я стискивал их все сильнее и сильнее, пока не хрустнули суставы. Снаут спокойно, прищурившись, смотрел на меня. Я разжал руку и отошел в угол. Стоя лицом к стене, я произнес:

— Постараюсь без истерики.

— Пустяки. Что мы станем требовать?

— Говори ты. У меня нет сил. Она сказала что-нибудь перед тем, как?..

— Нет. Ничего. Я считаю, что теперь появилась возможность...

— Возможность? Какая возможность? Какая?.. А-а... — проговорил я тише, глядя ему в глаза, и вдруг все понял. — Контакт? Снова Контакт? Нам все мало? И ты, ты сам, и весь этот сумасшедший дом... Контакт? Нет, нет, нет. Без меня.

— Почему? — спросил Снаут абсолютно спокойно. — Кельвин, ты по-прежнему, а теперь еще больше, чем когда-либо, вопреки разуму принимаешь его за человека. Ты ненавидишь его.

— А ты нет?..

— Нет, Кельвин, он же слеп...

— Слеп? — повторил я, думая, что ослышался.

— Конечно, с нашей точки зрения. Он не вос-

принимает нас так, как мы воспринимаем друг друга. Мы видим лицо, тело и отличаем друг друга. Для него это — прозрачное стекло. Он проник в глубь нашего сознания.

— Ну хорошо. И что из этого? К чему ты ведешь? Если он сумел оживить, создать человека, который существует лишь в моей памяти, и сделал это так, что ее глаза, движения, ее голос... голос...

— Говори! Говори! Слышишь?!!

— Я говорю... говорю... Да... Итак... голос... отсюда следует, что он может читать нас, как книгу. Понимаешь, что я имею в виду?

— Да. Если бы он захотел, то мог бы с нами договориться?

— Конечно. Разве не ясно?

— Нет. Безусловно, нет. Ведь он мог взять лишь рецепт производства, который состоит не из слов. Фиксированная запись памяти имеет белковую структуру, как головка сперматозоида или яйцеклетка. Там, в мозгу, ведь нет никаких слов, чувств. Воспоминание человека — образ, записанный языком нуклеиновых кислот на макромолекулярных апериодических кристаллах. Итак, он взял у нас то, что более всего подавлено, крепко-накрепко закрыто, глубже всего спрятано, понимаешь? Но он мог не знать, что это, какое

имеет для нас значение... Видишь ли, если бы мы смогли создать симметриаду и бросили ее в Океан, зная архитектуру, технологию и строительные материалы, но не представляя себе, зачем, для чего она служит, что она для Океана...

— Это возможно, — сказал я. — Да, возможно. В таком случае он, вероятно, вообще не хотел подавить, унизить нас. Вероятно. И только нечаянно...

Губы у меня задрожали.

— Кельвин!

— Да. Да. Хорошо. Теперь хорошо. Ты добр. Он — тоже. Все добры. Но зачем? Объясни мне! Зачем? Зачем ты это сделал? Что ты ей сказал?

— Правду.

— Правду, правду! Что именно?

— Ты же знаешь. Идем ко мне. Будем писать рапорт. Идем.

— Подожди. Чего ты, собственно, хочешь? Ты что, намереваешься остаться на Станции?

— Конечно.

Древний мимоид

Я сидел у огромного иллюминатора и глядел на Океан. Делать мне было нечего. Рапорт, составленный за пять дней, теперь представлял собой пучок волн, мчащийся в пустоте, где-то за созвездием Ориона. Когда пучок достигнет темной пылевой туманности, распростершейся на территории восьми триллионов кубических миль и поглощающей любой сигнал и луч света, он попадет в первый из цепи передатчиков. Оттуда от одного ретранслятора к другому, прыжками длиной в миллиард километров, он будет нестись по огромной дуге, пока последний передатчик, металлическая глыба, до отказа забитая точными приборами, с вытянутой мордочкой направляющих антенн, не соберет лучи еще раз и не направит их дальше в пространство, к Земле.

Потом пройдут месяцы, и такой же пучок энергии, направленный с Земли, протянув за собой борозду импульсных искажений в гравитационном поле Галактики, достигнет космической тучи, проскользнет, усиленный, по цепи свободно дрейфующих ретрансляторов и, не сбавляя

скорости, помчится к двойному солнцу Солярис.

Океан под высоким красным солнцем выглядел чернее, чем когда-либо. Рыжий туман как бы разогревал его на горизонте. День был невероятно жарким и, казалось, предвещал одну из тех чудовищных бурь, которые изредка, несколько раз в году, бушуют на планете. Есть основания предполагать, что единственный житель планеты контролирует климат и сам вызывает бури.

Еще несколько месяцев мне предстояло смотреть на него из иллюминатора, с высоты наблюдать за непринужденностью белого золота и усталого багрянца, время от времени переливающихся в каком-то жидком извержении, в серебристом волдыре симметриады, следить за передвижением наклоненных против ветра тонких мелькальцев, встречаться с полуразвалившимися, осыпающимися мимоидами.

Когда-нибудь все экраны видеофонов заговорят, засветятся, оживет давно умолкшая электронная сигнализация, приведенная в движение импульсом, посланным издалека, с расстояния в сотни тысяч километров. Сигналы возвестят о приближении металлического исполина, который с протяжным ревом гравитаторов опустится над Океаном. Это будет или «Улисс», или «Про-

метей», или какой-нибудь другой громадный крейсер дальнего космического плавания. Когда я спущусь по трапу с плоской крыши Станции, то увижу на палубах ряды массивных роботов в белых панцирях. Роботы не то что люди — они безгрешны и невинны, они исполняют каждый приказ — вплоть до уничтожения себя или преграды, ставшей на пути, если такая программа заложена в кристаллах их памяти. А потом корабль мягко поднимется, полетит быстрее звука, оставляя за собой достигающий Океана грохот, разбитый на басовые октавы. От мысли о возвращении домой лица людей засияют.

Но у меня не было дома. Земля? Я думал об огромных, шумных, многолюдных городах, в которых я потеряюсь, исчезну, как мог исчезнуть, если бы не остановился и бросился в Океан, тяжело вздымающийся в темноте. Я утону в толпе. Буду неразговорчив, внимателен, и поэтому меня станут ценить в обществе, у меня появится много знакомых, даже приятелей, будут женщины, а может, только одна женщина. Какое-то время я стану заставлять себя улыбаться, кланяться, вставать, производить тысячу мелких действий, из которых складывается земная жизнь, пока не привыкну. Появятся новые увлечения, новые

занятия, но ничто уже не захватит меня целиком. Никто и ничто. Возможно, ночью я буду смотреть туда, где на небе скопление космической пыли черной завесой скрывает сияние двух солнц, вспоминать все, даже то, о чем я сейчас думаю, вспоминать мои безумства и надежды со снисходительной улыбкой, в которой будет немного горечи и превосходства. В будущем я не стану хуже того Кельвина, который был готов пожертвовать всем ради дела — ради Контакта. Ни у кого не будет права меня осудить.

В комнату вошел Снаут. Он оглядел все вокруг, потом посмотрел на меня; я встал и подошел к столу.

— Ты чего-то хочешь?

— Мне кажется, тебе нечего делать? — спросил Снаут, моргая. — Я мог бы тебе предложить кое-какие расчеты, правда, не очень срочные...

— Спасибо тебе, — улыбнулся я, — но это лишнее.

— Ты уверен? — спросил он, глядя в окно.

— Да. Я тут думал о разных вещах и...

— Мне хотелось бы, чтобы ты поменьше думал.

— Ах, ты совершенно не представляешь, о чем идет речь. Скажи мне... ты... веришь в Бога?

Снаут проницательно посмотрел на меня.

— Что? Кто сейчас верит...

В его глазах светилось беспокойство.

— Это все не так просто, — начал я беспечным тоном. — Ведь меня интересует не традиционный земной Бог. Я не разбираюсь в религиях и, может, ничего нового не придумал. Ты случайно не знаешь, существовала ли когда-нибудь вера в Бога слабого, в Бога-неудачника?

— Неудачника? — удивился Снаут. — Как ты это понимаешь? В каком-то смысле Бог каждой религии был слабым, ведь его наделяли человеческими чертами, только преувеличенными. Бог Ветхого завета, например, был вспыльчивым, жаждал преклонения и жертв, завидовал другим богам... греческие боги из-за своих склок и семейных раздоров тоже были по-человечески неудачниками...

— Нет, — прервал я его, — я имею в виду Бога, несовершенство которого не связано с простодушием людей, сотворивших его, его несовершенство — основная, имманентная черта. Это Бог, ограниченный в своем всеведении, всесилии, он ошибается в предсказаниях будущего своих начинаний, ход которых зависит от обстоятельств и может устрашать. Это Бог... калека, который

всегда жаждет большего, чем может, и не сразу понимает это. Бог, который изобрел часы, а не время, что они отсчитывают, изобрел системы или механизмы, служащие определенным целям, а они переросли эти цели и изменили им. Он создал бесконечность, которая должна была показать его всемогущество, а стала причиной его полного поражения.

— Когда-то манихейство... — неуверенно начал Снаут. Странная сдержанность, с какой он обращался ко мне в последнее время, исчезла.

— Это не имеет ничего общего с добром и злом, — тут же прервал я его. — Этот Бог не существует вне материи и не может от нее избавиться, а лишь этого жаждет...

— Подобной религии я не знаю, — сказал Снаут, помолчав. — Такая никогда не была нужна. Если я правильно тебя понял, а боюсь, что понял правильно, ты думаешь о каком-то эволюционирующем Боге, который развивается во времени и растет, возносясь на все более высокий уровень могущества, дорастая до сознания своего бессилия! Этот твой Бог — существо, для которого его божественность стала безвыходным положением; поняв это, Бог впал в отчаяние. Но ведь отчаявшийся Бог — это же человек, дорогой мой!

Ты имеешь в виду человека... Это не только никуда не годная философия, это даже для мистики слабовато.

— Нет, — ответил я упрямо, — я не имею в виду человека. Возможно, некоторые черты моего Бога соответствовали бы такому предварительному определению, но лишь потому, что оно далеко не полно. Нам только кажется, что человек свободен в выборе цели. Ее навязывает ему время, в которое он родился. Человек служит этим целям или восстает против них, но объект служения или бунта задан ему извне. Полная свобода поиска цели возможна, если человек окажется совсем один, но это нереально, ибо человек, который вырос не среди людей, никогда не станет человеком. Этот... мой... Бог — существо, лишенное множественного числа, понимаешь?

— Ах, — сказал Снаут, — как это я сразу...

Он показал рукой на Океан.

— Нет, — возразил я, — и не он. Слишком рано замкнувшись в себе, он миновал в своем развитии возможность стать божеством. Он скорее отшельник, пустынник космоса, а не его Бог... Он повторяется, Снаут, а тот, о ком я думаю, никогда бы этого не сделал. А вдруг он возникает как раз теперь, где-то, в каком-то уголке Галактики, и

вот-вот начнет с юношеским задором гасить одни звезды и зажигать другие. Мы заметим это спустя некоторое время...

— Мы уже это заметили, — кисло проговорил Снаут. — Новые и сверхновые... по-твоему, это свечи на его алтаре?

— Если ты собираешься так дословно понимать то, что я говорю...

— А может, именно Солярис — колыбель твоего божественного младенца, — заметил Снаут. От улыбки вокруг его глаз появились тонкие морщинки. — Может, именно он — зародыш Бога отчаявшегося, может, жизненные силы его детства пока превосходят его разум, а все то, что содержится в наших соляристических библиотеках, — просто длинный перечень его младенческих рефлексов...

— А мы какое-то время были его игрушками, — договорил я. — Да, возможно. И знаешь, что тебе удалось? Создать абсолютно новую гипотезу на тему планеты Солярис, а это нешуточное дело! Вот и объяснение, почему невозможно установить Контакт, почему нет ответа, откуда берутся некоторые — назовем их так — экстравагантности в обращении с нами. Психика маленького ребенка...

— Я отказываюсь от авторства, — буркнул Снаут, останавливаясь у иллюминатора.

Мы долго смотрели на черные волны. На восточной стороне горизонта в тумане проступало бледное продолговатое пятно.

— Откуда ты взял идею несовершенного Бога? — спросил вдруг Снаут, не отводя глаз от залитой светом пустыни.

— Не знаю. Она мне показалась глубоко верной. Это единственный Бог, в которого я мог бы поверить. Его мука — не искупление, она никого не избавляет, ничему не служит, она просто есть.

— Мимоид... — сказал совсем тихо, изменившимся голосом Снаут.

— Что ты сказал? Да, да. Я заметил его еще раньше. Совсем древний.

Мы оба вглядывались в горизонт, затянутый рыжей дымкой.

— Я полечу, — неожиданно сказал я. — Я еще ни разу не покидал Станции, а тут — такая прекрасная возможность. Я вернусь через полчаса...

— Что? — Снаут широко открыл глаза. — Ты полетишь? Куда?

— Туда. — Я показал на маячившее в тумане светлое пятно. — А что тут особенного? Я возьму маленький геликоптер. Смешно, знаешь ли, если

на Земле мне придется когда-нибудь сознаться, что я, солярист, ни разу не ступил на солярийскую почву.

Я подошел к шкафу и стал выбирать себе комбинезон. Снаут молча следил за мной, а потом сказал:

— Не нравится мне это.

— Что? — обернулся я с комбинезоном в руках. Меня охватило давно забытое возбуждение. — В чем дело? А ну, выкладывай! Ты боишься, как бы я... Чепуха! Даю тебе честное слово. Я даже не подумал об этом. Нет, честное слово, нет.

— Я полечу с тобой.

— Спасибо, но уж лучше я полечу один. Все-таки нечто новое, совершенно новое, — торопливо говорил я, натягивая комбинезон.

Снаут что-то еще твердил, но я не обращал на него внимания, разыскивая необходимые вещи.

Он пошел за мной на взлетную площадку, помог мне выкатить машину из бокса на середину пускового стола. Когда я натягивал скафандр, Снаут неожиданно спросил:

— Ты сдержишь свое слово?

— Господи, Снаут, ты опять? Сдержу. Я же тебе обещал. Где запасные баллоны?

Снаут больше ничего не говорил. Закрыв

прозрачный купол, я подал ему знак рукой. Он включил подъемник, я медленно выехал на верхнюю часть Станции. Мотор проснулся, протяжно зарокотал, винт завертелся, и аппарат с удивительной легкостью поднялся вверх, оставив под собой все уменьшавшийся серебристый диск Станции.

Я впервые был один над Океаном. За иллюминатором он производил совершенно другое впечатление. Возможно, это зависело от высоты полета — я скользил всего в нескольких десятках метров от поверхности. Только теперь я не просто знал, а чувствовал, что перемежавшиеся, жирно блестевшие горбы и впадины двигались не как морской прилив или туча, а как животное. Это выглядело как непрерывные, необыкновенно медленные судороги мускулистого туловища. Поворачиваясь, гребень каждой волны вспыхивал красной пеной. Когда я сделал разворот, чтобы идти точно по курсу медленно дрейфующего мимоида, солнце ударило мне прямо в глаза, кровавые отблески засверкали в выпуклых стеклах, а сам Океан стал чернильно-синим с пятнами темного огня.

Я неумело описал круг и вылетел далеко на подветренную сторону, мимоид остался сзади,

его неправильные очертания широким светлым пятном выделялись в Океане. Он уже не был розовым, он желтел, как высохшая кость, на секунду я потерял его из виду, вместо него вдали показалась Станция, висевшая прямо над Океаном, как огромный старинный дирижабль. Я повторил маневр, напрягая все свое внимание: прямо по курсу вырастал массив мимоида со своим причудливым крутым рельефом. Казалось, я вот-вот задену за самый высокий из его клубневидных выступов, я так резко набрал высоту, что геликоптер, теряя скорость, закачался. Осторожность была излишней: закругленные вершины причудливых башен проплыли далеко внизу. Выровняв машину, я медленно, метр за метром, стал убирать высоту. Наконец ломкие вершины замелькали над кабиной. Мимоид был невелик. Он насчитывал не более трех четвертей мили в длину, а шириной был всего в полмили. В некоторых местах мимоид сузился: там вскоре должен был произойти разлом. Вероятно, это был осколок значительно более крупного образования. По солярийским масштабам он представлял собой лишь мелкий обломок, остаток, насчитывавший Бог знает сколько времени.

Между тонкими изогнутыми возвышениями я

открыл что-то вроде берега, несколько десятков квадратных метров довольно покатой, но почти ровной поверхности, и направил туда машину. Посадка была труднее, чем я предполагал, я чуть не задел винтом за выросшую прямо на глазах стену, но все кончилось благополучно. Я тут же выключил мотор и откинул крышку купола. Стоя на крыле, я проверил, не угрожает ли геликоптеру опасность сползти в Океан; волны лизали зубчатый край берега в нескольких шагах от места посадки, но геликоптер твердо стоял на широко расставленных полозьях. Я спрыгнул на... «землю». То, что я сначала принял за стену, которую я чуть не задел, было огромной, дырявой как решето, тонкой как пленка костной плитой, стоявшей на боку и проросшей напоминающими маленькие галереи утолщениями. Щель шириной в несколько метров делила наискось всю эту многоэтажную плоскость, раскрывая глубокую перспективу. Та же перспектива видна была сквозь большие, беспорядочно разбросанные отверстия. Я вскарабкался на ближайший выступ стены, отметив, что подошвы скафандра необыкновенно устойчивы, а сам скафандр нисколько не мешает передвигаться. Очутившись на высоте пяти этажей над Океаном, я повернулся лицом к

скелетоподобному пейзажу и только теперь смог как следует рассмотреть его.

Мимоид был удивительно похож на древний полуразрушенный город, на какое-то экзотическое марокканское поселение, много веков назад пострадавшее при землетрясении или другом катаклизме. Я отчетливо видел извилистые, наполовину засыпанные и загроможденные обломками улочки, круто спускавшиеся к берегу, омываемому пенистой гущей, выше вздымались уцелевшие зубцы стен, бастионы, их округлые основания, а в выпуклостях и впадинах стен чернели отверстия наподобие разрушенных окон или крепостных бойниц. Весь этот город-остров, тяжело накренившись, как полузатопленный корабль, бессмысленно, бессознательно двигался вперед, медленно поворачиваясь, тени лениво ползали по закоулкам развалин, иногда сквозь них пробивался солнечный луч, падая на то место, где я стоял. С немалым риском я вскарабкался еще выше, с выступов над моей головой посыпался мелкий сор. Падая, он заполнил клубами пыли извилистые ущелья и улочки. Мимоид, конечно, не скала, сходство с известняком исчезает, если взять осколок в руку: он гораздо легче пемзы, у него мелкоячеистое строение; поэтому

он необыкновенно воздушен.

Я поднялся уже так высоко, что стал ощущать движение мимоида: он не только плыл вперед под ударами черных мускулов Океана, неизвестно откуда и неведомо куда, но еще и наклонялся то в одну, то в другую сторону, необыкновенно медленно, каждый такой крен сопровождался протяжным чмоканьем бурой и желтой пены, стекавшей с обнажавшегося бока. Это колебательное движение было придано мимоиду очень давно, вероятно, при его рождении, он сохранил его благодаря своей огромной массе. Осмотрев с высоты все, что мог, я осторожно спустился вниз и только тогда, как ни странно, понял, что мимоид меня абсолютно не интересует и что я прилетел сюда, чтобы встретиться не с ним, а с Океаном.

Я сел на твердую потрескавшуюся поверхность в нескольких шагах от геликоптера. Черная волна тяжело вползла на берег, расплющиваясь и одновременно теряя цвет. Когда она отступила, на кромке остались дрожащие нити слизи. Я подвинулся еще ближе и протянул руку к следующей волне. Тогда она верно повторила то, с чем люди впервые столкнулись почти сто лет назад: задержалась, чуть отступила, окружила мою руку, не касаясь ее, так что между рукавицей

скафандра и внутренностью углубления, сразу ставшего из жидкого почти мясистым, остался тонкий слой воздуха. Я медленно поднял руку; волна, а точнее, ее узкий отросток пошел за ней вверх, продолжая окружать мою кисть постепенно светлевшим грязновато-зеленым слоем. Я встал, чтобы еще выше поднять руку. Прожилка студенистого вещества натянулась как дрожащая струна, но не порвалась. Основание совершенно расплющившейся волны, как странное, терпеливо ждавшее конца эксперимента существо, прильнуло к берегу у моих ног, также не касаясь их. Было похоже, что из Океана вырос тягучий цветок, чашечка которого окружила мои пальцы, став их верным негативом, но не коснулась их. Я попятился. Стебель задрожал и неохотно вернулся вниз, эластичный, колеблющийся, неуверенный. Волна поднялась, втянув его в себя, и исчезла за кромкой берега. Я повторял эту игру до тех пор, пока опять, как сто лет назад, одна из очередных волн не отхлынула равнодушно, словно насытившись новыми впечатлениями. Я знал, что мне пришлось бы ждать несколько часов, пока вновь проснется ее «любопытство». Я сел. Так хорошо известное мне из книг явление словно переродило меня: никакая теория не мог-

ла передать реальности.

В почковании, росте, распространении этого живообразования, в его движениях — в каждом отдельно и во всех вместе — проявлялась какая-то, если можно так сказать, осторожная, но не пугливая наивность, когда оно пыталось самозабвенно, торопливо познать, охватить новую, неожиданно встретившуюся форму и на полпути вынуждено было отступить, ибо это грозило нарушением границ, установленных таинственным законом. Какой невыразимый контраст составляло его вкрадчивое любопытство с неизмеримостью, блестевшей от горизонта до горизонта. В мерном дыхании волн я впервые так полно ощущал исполинское присутствие; мощное, неумолимое молчание. Погруженный в созерцание, окаменевший, я опускался в недосягаемые глубины и, теряя самого себя, сливался с жидким, слепым гигантом. Я прощал ему все, без малейшего усилия, без слов, без мыслей.

Всю последнюю неделю я вел себя так благоразумно, что недоверчиво поблескивающие глаза Снаута перестали меня в конце концов преследовать. Внешне спокойный, я чего-то безотчетно ждал. Чего? Ее возвращения? Как я мог? Каждый из нас знает, что представляет собой материаль-

ное существо, подвластное законам физиологии и физики, и что сила всех наших чувств, разом взятых, не может противостоять этим законам, а может их только ненавидеть. Извечная вера влюбленных и поэтов во всемогущество любви, побеждающей смерть, преследующие нас веками слова «любовь сильнее смерти» — ложь. Но такая ложь не смешна, она бессмысленна. А вот быть часами, отсчитывающими течение времени, то разбираемыми, то собираемыми снова, в механизме которых, едва конструктор тронет маятник, поднимается отчаяние и любовь, знать, что ты всего лишь репетир мук, усиливающихся тем более, чем смешнее они становятся от их многократности? Повторять человеческое существование, но повторять его так, как пьяница повторяет избитую мелодию, бросая все новые и новые медяки в музыкальный ящик? Я ни на одну секунду не верил, что жидкий гигант, который уготовил в себе смерть сотням людей, к которому десятки лет вся моя раса безуспешно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, что он, несущий меня бессознательно, как пылинку, будет взволнован трагедией двух людей. Но его действия преследовали какую-то цель. Правда, даже в этом я не был абсолютно уверен. Но уйти

— значит зачеркнуть ту, пусть ничтожную, пусть существующую лишь в воображении возможность, которую несет в себе будущее. Так что же — годы среди мебели и вещей, которых мы вместе касались, в воздухе, еще хранящем ее дыхание? Во имя чего? Во имя надежды на ее возвращение? Надежды не было. Но во мне жило ожидание — последнее, что мне осталось. Какие свершения, насмешки, муки мне еще предстояли? Я ничего не знал, но по-прежнему верил, что еще не кончилось время жестоких чудес.

Закопане
Июнь 1959 г. — июнь 1960 г.